

**Николай Смирнов**

# **Дева-Книга**

Лирический роман  
С приложением баллады  
о самозванце-постановщике  
и поминовением по убитому поэту

«ИНДИГО»  
Ярославль

2013

**ББК 84(2Рос-Рус)бя44**  
**УДК 82.1.2**  
**С50**

**Николай Смирнов**

**С50** Дева-Книга. Лирический роман; Из записок Горелова. Повесть. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2013. – 160 с.

Лирический роман – мозаичное жанровое образование. Его стихотворные циклы в четырех главах объединены одним героем, поэтом, ищущим живую истину, связанную с судьбой России. Трагическим лиризмом пронизана и прозаическая часть книги, повесть «Из записок Горелова», развивающая те же романтические мотивы.

**ББК 84(2Рос-Рус)бя44**

**ISBN 978-5-91722-129-8**

© Николай Смирнов. Литературные произведения, 2013  
© ИПК «Индиго». Издательство, 2013

## **Глава ПЕРВАЯ**

### **В марте, у собора**

#### **1. ПОСВЯЩЕНИЕ**

В чужой толпе, в огромном зале  
Люблю ваш строгий силуэт,  
Когда еще не выступали  
И шум стоит, и гаснет свет.

Когда знакомым, милым жестом  
Прижмете руку вы к груди.  
Ах, как далеко ваше место,  
У самой сцены, впереди!

Очей ли ваших темным раем  
Мой слабый дух давно пленен?  
Я понял – вы совсем другая...  
Тогда в кого же я влюблен?

Гнетет молчанье телефона.  
Кто ж мне последний даст ответ!  
В углу – старинная икона.  
В столе – ваш маленький портрет.

Перебираю строки Блока,  
Семенова и Кузмина.  
Душа весеннею морозом  
И пустотой своей пьяна.

Тиха, как нового собора  
Еще неосвященный гул.  
И грезят лики вашим взором,  
И крест на куполе сверкнул.

И эти сумраки живые,  
Где в белом платье Ты стоишь,  
Нездешним светом литургия  
Затопит из прохлады ниш.

## 2. ЖРЕБИЙ

Стол угрюмые содвинут,  
Над пустотой сойдутся вновь.  
И будет сердцу жребий вынут  
С ненужной надписью «любовь».

Чьи здесь разыгрывают роли,  
Кто здесь обманут, сброшен вниз?  
Над кем, как нож, хвативший крови,  
Злой месяц дымчато повис?..

Она об этом не расскажет,  
Ее очей не разбудить.  
Но снов узорной ниткой свяжет  
Души разорванную нить.

И вдруг захватит яркой силой,  
Преобразившей сердце так! –  
И кинет шарф голубокрылый  
В медовый свет, в церковный мрак.

И вновь умчит равниной русской,  
Где серый снег и лунный свет.  
Кто ж ты, зачем из дали тусклой  
Скользнул однажды твой привет?..

## 3.

Ты должен быть, как строгий инок,  
Проживший жизнь среди светлых книг.  
Ты должен знать – среди мигов длинных  
Тебя один погубит миг.

Когда ее случайно встретишь –  
Не узнавай скользнувший взгляд.  
А если на него ответишь –  
Иди, не оглянись назад.

Изогнут черный локон. Тайно  
В нем скован мрак твоей души.  
Пойми же, нету встреч случайных,  
Пойми и дальше поспеши.

А если нет уже дороги,  
Гляди ей в очи и молчи.  
Соблазн цветов и линий строгих,  
Портрет любимый растопчи!

А если все звучит победно  
О ней одной, сжигая, весть –  
Ты собери свой складень медный,  
Лик Богоматери завесь.

Возьми оружие. Три, четыре!  
Пусть сердце прыгнет с высоты:  
Тот мир – не рай. Зато в том мире  
Навеки с нею будешь ты.

**4. ИКОНОПИСЕЦ**

Я расчертил стальной иглою  
 Твой лик на извести стены.  
 Я разве знал, что высотойю  
 Мои минуты сочтены?

Землею пахнет в новом храме  
 И свежим тесом от лесов.  
 И над моими черепками  
 Играет радуга цветов.

И снова ангел золотистый  
 Душою легкой овладел.  
 И за твоей стеною мгlistой  
 Открылся дивный мне предел.

То был не рай. Но я в том мире  
 С тобою, как в раю, сиял.  
 Огонь певучий ярче, шире  
 Воск прожитого растоплял.

Перед тобой лежат покровы.  
 Кому ж готовишь ты наряд? –  
 Хочу спросить тебя, но слово  
 Твой останавливает взгляд.

Одной любовью хранимый,  
 Я звал тебя из пустоты.  
 И вдруг стекла белесым дымом  
 Задержнулась внезапно ты.

И все черты твои уснули,  
 Окаменели речь и смех.  
 И в новом храме, в чистом гуле  
 Навстречу мне рванулся грех...

На плитах каменных распластан.  
 Земля, целую твой покров.  
 Уже и радуга погасла  
 Рассыпавшихся черепков.

**5. ЧАША ЯРОСТИ**

Соснового бора опушка –  
 Зеленый таинственный сон:  
 В полковничьем, царском мундире  
 Навстречу выходит мне ОН.

Болезненный мальчик, наследник,  
 С ним рядом по тропке бежит.  
 Вдруг встал он и с грустной тревогой  
 В глаза мне, убитый, глядит.

То совести нашей химера  
 Грызет нас за царскую кровь:  
 Она испарилась, как вера,  
 И в землю ушла, как любовь.

В подвале читают бумагу.  
 Вскрик фрейлины... Стоит ли жить?!  
 Ах, Ваше Величество, грудью  
 Наследника дайте закрыть!..

Господь отобрал у нас разум,  
 И ярости чашу до дна  
 Мы выпьем, чтоб совесть сгорела,  
 Звериная совесть дотла.

Да что мы о будущем знаем!  
 У каждого в сердце – дракон.  
 И ужас багрового зева  
 Надвинулся с наших знамен.

И Серп замахнулся Господень.  
И Молот, готовый дробить.  
И новые Янкель с Иваном  
Ведь могут и вас застрелить!..

О Господи, в смертном подвале  
Молю я, мне мужества дай!..  
Мой ангел, тебя заслоню я! –  
Ну, Янкель, проклятый, стреляй!

## 6. СТЕНА

*Художник-варвар кистью сонной  
Картину гения чернит...  
А. С. Пушкин*

На извести стены алтарной  
Свет вечности, каким-то варваром,  
Мерцает, грубо забелен,  
.....  
.....  
.....  
.....  
А встречу вас.....  
.....  
Лишь немотой душа полна,  
Руин алтарных высотую.

## 7. В МИРОВОЙ ТЕМНИЦЕ

Выходит в звездный сад окно  
Души из мировой темницы.  
Уж ночь. И зеркало давно  
В углу волшебное томится.

Его мне ведьма принесла,  
Сплав серебра и злой тревоги,  
И я ослеп от ремесла  
Коварного, старик убогий.

Я жду прозренья, как в бреду.  
В заветный час я сплав тяжелый  
Рукой ревнивою беру –  
И вспыхнет дух мой невеселый.

И глянет смуглый, как душа,  
Лик с фиолетового поля,  
Надменной радостью дыша  
И сердце серебром неволя.

## 8. ИЗ КИТЕЖА

В туманном марте у собора.  
Меня зовет неясный свет.  
Врата распахнуты притвора,  
Но богомольцев в храме нет.

Одна работница в халате,  
Темнея, моет тряпкой пол  
И смотрит, кто ж сюда некстати  
В час неуказанный пришел.

В каком-то отчужденье странном  
Брожу у стен в густых тенях.  
А стены, будто из тумана.  
Встают, теряясь в облаках.

Так что же сердце так робеет  
Войти под узкий, белый свод,  
И колея с холма, синяя,  
Виясь, из Китежа зовет?

Ребенок, девушка в веснушках,  
 Во взгляде – снега синева –  
 Рукой махнула на опушку,  
 Я позабыл ее слова.

Наверно, дочка той, что моет  
 Из ярко-желтых плиток пол.  
 И я неверной колею  
 По полю снежному ушел.

Еще собора чистым гулом  
 Душа туманная полна.  
 Ах, неужели обманула  
 Меня без умысла она?

Бор вечеряющими снами  
 Склонился хладно надо мной.  
 В себя ль, в меня ль глядит очами  
 Невыразимый образ твой?

Да, ты бросала эти тени,  
 Чтоб спутать мой неверный путь,  
 Чтоб трепет солнечных хотений,  
 Погаснув, обратился в муть.

Твой яркий смех, твой грешный голос,  
 Очей во тьму влекущий плен!  
 Ты знаешь, как душа боролась  
 Там, где туман прохладных стен?

Сочти же все мои поклоны.  
 Все грезы страстной темноты.  
 Узнай про смуглый лик иконы,  
 С которым дерзко схожа ты.

## 9. ГЛАВКИ ВЕКОВ

Вот образ девы древнерусской,  
 Мой сбывшийся чудесно сон:  
 Твой стан напоминает узкий  
 Мне Деву-лилию с икон,  
 А тонкий хлад шелковой блузки –  
 Финифть и киноварь времен.

В плетенке мысленной заставки,  
 Да, ты мой темноокий сон;  
 И в нем веков мелькают главки:  
 Вот мраморные складки тоги,  
 Прямые стены, башни, боги  
 Из Рима первого времен.

Со скрипом сладостным златое  
 Вращает космос колесо  
 И осыпает ум цветною  
 Всех жребиев моих игрою, –  
 Как музыкою мировую,  
 Томя, меня к тебе несло.

Мне образ твой уже был ведом  
 Еще тогда, в животной мгле,  
 Как под утробно жарким небом  
 Я жался ящером к земле;  
 Когда вел эллинов к победам;  
 Валов мерцает синева;  
 Я в Атлантиде... Где ж Москва?

Раскрыты Голубинной книги  
 Уже последние листы,  
 И первозданной красоты  
 Погасли образы и миги,  
 Огонь религии зачах;  
 Гроб коммунизма в обручах  
 Свобод – сменил любви вериги...

**10. РОМАНС**

Как полон нового значенья  
 Неновый склад ее речей.  
 Лучисто смотрит провиденье  
 Из темноты ее очей.

Играет лента голубая  
 Так под небрежною рукой,  
 Как будто бы она играет  
 Моей мечтой, моей судьбой.

Когда уже я в мир жестокий  
 Дней осени своей вступил,  
 Зачем ты, ангел темноокий,  
 Мне путь затмил иль озарил?

Играет лента голубая  
 Зачем под легкую рукой,  
 Ужель к исходу очищая,  
 Мне душу новой красотой?

Устал с соблазном я бороться,  
 Угас мой дух под влажной тьмой,  
 Чтоб видеть там два ярких солнца,  
 Чтоб только слышать голос твой.

Меня порочней и грешнее,  
 Светлей меня сегодня нет:  
 Кто за тобой – я не умею  
 Понять – откуда этот свет?  
 И чей огонь мне сердце плавит,  
 Как пряный воск – льняная нить?..

Шарф голубой она поправит,  
 Уйдет. И страшно станет жить.

**11. С МЕФИСТОФЕЛЕМ**

*Погреб Ауэрбаха в Лейтциге.  
 «Фуст». Гёте*

Не от любви и не от страха –  
 От унижения дрожу!  
 Я в погребок Ауэрбаха  
 По стертой лестнице схожу.

Самовлюбленный неврастеник,  
 В душе пожар из серых роз.  
 Скорей вина, не жалко денег,  
 Вина и крепких папирос!

Пусть пламя адское дымится,  
 Дотла сжигая эту жизнь.  
 Что ж ты одна грустишь, девица,  
 Иди сюда, ко мне садись!..

Как я хотел бы, чтоб бравадой  
 Все это было или сном,  
 Но это – правда. Сердце радо  
 Пить с Мефистофелем вдвоем.

В оправе винного опала  
 Блистает ярче образ твой.  
 Чтобы толпа захохотала,  
 Я расскажу о нем другой.

Она с лицом скуластым сфинкса,  
 В глазах – фаянса синий сон.  
 Ресницы острые, как финки.  
 Вся в черном, только с похорон.

Она бела и русокоса,  
 Играет выгнутая бровь.  
 В руке дымится папироса:  
 – Ты Расскажи мне про любовь!..

**12.**

Ах, сколько русских лиц порочных  
Здесь, под немецким потолком.  
И кости мечут, и хохочут,  
И спят вповалку под столом.

Убийцы: Янкель, два Ивана  
За что-то борются, как встарь,  
Грозит кому-то из тумана  
И лысый вождь, и красный царь.

Кричите, пьяные, кричите!  
Погасни свет! Из темноты  
Иная, злая Беатриче  
Мне кажет страшные черты.

Для стихотворного я склада  
Слова церковные ей крал,  
Но здесь не веет тонким хладом –  
И лик ее не заблистал.

Она со знаменем багряным,  
Дождит на вас живую кровь.  
И клонится на хохот пьяный  
Лик, искажающий любовь.

**13. ПЕСЕНКА ИЗ ПОГРЕБКА**

На Колыме, на голой гальке  
Желто-оранжевых цветов  
Присели бабочками стайки  
У старых лагерных столбов.

Тонки их замшевые стебли –  
Я так любил на них смотреть –  
По ветру бьются, будто медя,  
Взлететь им или не взлететь

Как называют их – не знаю:  
Цвет вашей блузки всякий раз  
Мне те цветы напоминают,  
Когда я думаю о вас.

Мне так легко о вас поется,  
И сердце вдруг из темноты  
Летит и бабочкою бьется  
О ваши желтые цветы.

**14. МАДРИГАЛ**

Вы в этот день явились в белом  
И сели справа, у окна:  
В нем купол был обледенелый,  
Собора старого стена.

Вы чуть презрительно, устало  
Вперед склонились тяжело –  
Все это шло вам очень мало,  
Но все же шло, но все же шло!..

Вы на меня взглянули мгlisto  
В который раз уже опять.  
И я невинную записку  
Вам не решился передать.

Но стены плавные собора  
И белой блузки тонкий хлад  
Перед моим душевным взором  
Как в тот далекий день, стоят.

О небесах, о грозном Боге  
Душе продлили вы рассказ.  
Я верю, что в его чертоге  
Когда-нибудь я встречу вас.



## 15.

Я всю ночь к тебе иду по звездам –  
 Где ты, мой одушевленный храм? –  
 И по выгнутым молитвенно березам –  
 В темноте белеющим крестам.

Мир – тюрьма, в цветах, в крещатых ризах  
 Темноокой пленницы – души:  
 Слабо ей сквозь стены слышен вызов  
 В теплым воском пахнущей тиши.

Ты – моя Христа живая книга,  
 Дивно изукрашен переплет:  
 Полулюди-полузвери – иго  
 Крышек только иннок разогнет.

Под мою же рукой страница  
 Вспыхивает – и под сень небес  
 Алая заставка, словно птица,  
 Улетает на вселенский крест.

И дробясь в розетках переплета,  
 Словно в сотах памяти живой,  
 Все напоминает мне кого-то  
 В белоснежном платье образ твой.

## 16. СИНОДИК

Жизнь отгорела и погасла,  
 Пощады нет и смерти нет.  
 Влажней оливкового масла  
 Из этой ночи вспыхнул свет.

Среди каких-то шумных комнат  
 Опять идет ученый спор.  
 Одну тебя мой дух запомнит,  
 Твой ледяной, твой страстный взор.

Как звезды, чертят душу миги.  
 Ты от столов меня зовешь.  
 А здесь, вокруг старинной книги  
 Галдит счастливо молодежь.

Гласят синодик вслух. И дама  
 В очках – задание дает:  
 Листов цветную панораму  
 Кто всех точнее переведет?

Берутся все. И я рисую.  
 Скрипит, ведет расщеп пера  
 Строй новых буквиц в даль иную,  
 В синодик новый до утра.

Имен усопших сладкогласье,  
 Заставок алых вечный гул.  
 Но где же траурное платье  
 И свет тяжелый лунных скул?..

И древний страх, на страсть похожий,  
 Оденет сердце в звездный лед:  
 Художник, в маленькой прихожей  
 Она тебя давно не ждет.

Пока все в комнате дивятся  
 Поспешной копии твоей –  
 Гляди, уходит обниматься  
 В подъезд, с другим у батарей.

Гляди, как мутно-золотая  
 К ней сила грубая влечет...  
 Уж не она, а ночь глухая  
 Вокруг тебя сиянье льет.

Гляди – уж комната погасла.  
 Давно один ты за столом.  
 Склонись над копией напрасной,  
 Быть может, не последним сном.

## 17.

В Николин день весной холодной  
 Я грустно вспоминал о Вас...  
 И вот душа из преисподней  
 Вдруг серой розой поднялась.

Под нею тьма, и там, в пещере,  
 Нездешний свет едва горит.  
 Как мысль о смерти и о вере –  
 Монах над книгою сидит.

Слова кроваво-золотые  
 Страницей смуглою плывут:  
 – Ты годы проживешь пустые,  
 И здесь тебе наступит суд.

Промчится жизненная повесть,  
 Когда сверстает главы грех –  
 Пред этой книгой вспыхнет совесть –  
 Личина треснет, как орех...

И что-то страшное в пещеру,  
 Как черный гроб, торчит из тьмы:  
 – Ты, обладатель розы серой,  
 От нашей не уйдешь тюрьмы!

## 19.

Свет слов живой. Монах читает.  
 И где-то, словно сон чужой.  
 Жизнь сине-сине золотая  
 Явила лик волшебный свой.

И сине-синее, живое  
 Склонилось небо надо мной.  
 Земля тепла, и море моет  
 Мне тело теплою волной.

Животным древним я распластан,  
 Растеньем древним я заснул.  
 Вдруг человеческой крови страстной  
 Ворвался снова в жилы гул...

Уже ведь шел я этим станом  
 Между палаток боевых  
 И, скрытый эллинским туманом,  
 Где потерял солдат своих?..

Уже твои я видел тоги,  
 Твои я слышал речи, Рим.  
 И выцветали твои боги  
 Под небом сине-золотым.

Все глубже путь. Все громче слово.  
 Меня влекут распад и тлен.  
 И я в предел поставлен новый,  
 Где только пепел до колен.

Там у стены сидят, как братья,  
 Все люди – Книга изжита –  
 И плачут. Это день распятия  
 Или пришествия Христа?

## Глава ВТОРАЯ

### Кладбищенская земляника

#### 1. НЕЗАБУДКИ

*...незабудка-цвет,  
Отшельник в мертвом поле.  
«Лила». А.Мещевский.*

*А, так с тобой была царица Мэб,  
То повитуха фей...  
«Ромео и Джульетта». В. Шекспир.*

Под липой кладбища дуплистой  
Я снова думаю о вас.  
И будто сон мне синий снится –  
Ваш на могиле шарф дымится –  
Из незабудок синий газ.

Не целовать мне ваши руки  
И очи мне не целовать,  
Даже в стихах мне ваши плечи  
Не обнимать, не обнимать!  
Зато в стихах я каждый вечер  
Под синих незабудок звуки –  
На бал вас буду приглашать!  
Ведь вам отговориться нечем:  
Я буду с вами танцевать!

Вы королева Мэб, вы – фея, –  
Я говорю вам в этот час.  
И закипает звук смуглее,  
И танец яркий все смелее,  
И шарф дымится все синее –  
Могильных незабудок газ.

Не целовать мне ваши руки  
В чужого золота перстнях –  
Оправлены в них те же звуки –  
С голубизною, как в цветах.

Встать – гласные против согласных:  
Одни в загаре и смуглы,

Те – белокуры, безучастны.  
И зеркалом подобострастным  
Скользят под туфельки полы.

И бьются смуглые колени  
В ночную юбки синеву.  
И с пола ваши отраженья  
Встают, играя, наяву.

Великолепное надбровье,  
Со лба откиньте эту прядь –  
Сюда, где сердце, где надгробье! –  
Она вам будет так мешать...

И над забытою могилой  
В огне угасшем чьих-то глаз –  
Струится шарф ваш синекрылый,  
И незабудок синий газ –  
И в зале вечности застылой  
Танцует танец синий газ.

И полустерты, и скуласты,  
Как камнеликих гномов ряд,

Сонорные идут на танец  
 В чулочках, в грузных башмаках.  
 Встать – гласные против согласных! –  
 Бал звуков, синий маскарад.

Как эти леди смуглолики:  
 Тих золотой огонь в очах.  
 И вдруг цыганских песен крики,  
 Полов дощатый тарарах –  
 Ударит сквозь сонорных блики  
 Парчи огонь, огонь в очах.

Меж этих звуков нежных, страстных –  
 Бал над могилой, над душой –  
 Мы пара: гласный и согласный,  
 Наш танец темно-голубой,  
 Как незабудок цвет ночной.

Ваш темнокудрый, романтичный,  
 Ваш образ смугло-золотой –  
 Крап звуков смугло-золотой,  
 Такой привычный ... и та-кой!..

Дуплистые чернеют липы...  
 Зачем я думаю о вас  
 Под чернозема бабьи всхлипы  
 И незабудок синий газ?..  
 Наш танец звучный вдруг угас...  
 Нет-нет!.. Я думаю о вас!

Усталых гласных и согласных  
 Старинный дотлевет бал.  
 Его среди забот напрасных  
 За что мне, Боже, даровал?  
 Счастливым рокот звуков ясных,  
 Последний рокот синих труб...

Над чьей заброшенной могилой  
 Синее, затихая, бал,  
 И вьется шарф ваш синекрылый?..  
 Да разве вас я приглашал? –  
 Чтобы на холмик, бал остывший,  
 Шарф синий медленно упал...  
 На лист под липой, бал остывший,  
 Шарф синий медленно упал...

Нет-нет, я вас не приглашал...

## 2.

Весной, в казенном кабинете  
 Лучист обыденности сон.  
 Я рад: в его неверном свете –  
 Ваш взор, лицо вполупоклон.

Овладевая мыслью сонно  
 И ослабляя воли жгут,  
 Очей два аспидные солнца  
 Мне тьмой своею душу жгут.

И снится мне – готов я совесть  
 Продать и друга обмануть,  
 Чтоб только в сердце к вам, как в прорезь  
 Пурпурной маски, заглянуть.

Златисто-смугл в полунаклоне  
 Свет лика в темноте кудрей,  
 И высока, как на иконе,  
 Развилка нежная бровей.

И снится мне – за вашу тайну  
 Готов позорно умереть,  
 Чтобы за встречу случайной  
 Другую встречу разглядеть.

Замрут часы, не станут тикать  
И сечь секундами в висок.  
Под эхо солнечного вскрика  
Нажму я радостно курок.

И снится мне – звезды погасшей,  
Играя гранями, алмаз  
Скатился к сердцу – сердцу страшно  
Поверить хочется хоть раз.

И блеск текучий сердце ловит,  
Себе не веря, сердце ждет  
Того, что сон вдруг остановит,  
Разбудит, явью разорвет.

### 3.

Три женских лика мне сияли,  
Вели за мысленной весной,  
Столпами света озаряли  
Мрак жизни, хмуρο прожитой.

И первый – в бронзово-зеленых  
Лучах, и тени до земли –  
Оставь для юношей влюбленных  
Влачить в страстей земной пыли.

Второй же – солнечно-огнистый,  
Хмель тонкий женской чистоты,  
Моей жены, подруги чистой,  
С прохладой белою фаты.

А третий лик – к исходу лета  
В зарницах душных бьется ночь,  
Пожар кипрея фиолетов –  
Она, земли и неба дочь!..

Но не пред ними я заплакал,  
Придя с внезапных похорон –  
Пред Той, чей лик, как скорбный факел,  
Иконной тушью обведен.

Лишь ей, Невесте невестной,  
В душе акафисты звучат.  
Она научит огонь телесный  
В холодный сковывать булат.

### 4. ЕВА

Плоть моя, древняя Ева,  
Ты первообраз всех жен,  
Будет тебе возвращен  
Лик твой у райского древа.

Лик твой пречистый горит,  
В душу врывается ветер:  
Душных словес этих пепел  
Мне на тетрадку летит.

### 5.

О радость майского кладбища! –  
Как мертвых сны, твои цветы:  
Земною странницею нищей  
Из вечности приходишь ты.

Там на горе до небосклона  
Мерцает розой белый крест,  
Застыла музыка Платона,  
И грезы гностиков окрест.

И радость страшная распятыя  
Вновь сердце гулкое затмит:  
Темна земля, но в белом платье  
Невестой ласковой глядит.

Пусть обладанием телесным  
Мне сдавит душу плоти жгут –  
Ее цветением небесным  
Сады иконные спасут.

Весть умозрения цветного,  
О Дева-Лилия с икон!  
Приди, наполни душу снова,  
Благоухая, красок звон.

Дай веры, с огненною силой  
Слов этих пепел прорастет  
И в Воскресенье, за могилой,  
Цветами стан твой обовьет.

## 6.

Ты три раза «прощайте» сказала,  
Отрешенно взглянув и светло,  
Развернула стихи. И пропала.  
Воздух рот мне зажал, как стекло.

Мир, пещера твоя потускнела,  
Серой тенью на душу легла,  
Чтобы вспомнить она не сумела:  
А в каком же ты платье была?

Не тебя ли до талии нежной  
Рок в стекло забытья вмуровал?..  
Стало время твоею одеждой,  
Полуженщина-полукристалл.

## 7. ВОСКРЕСНАЯ ГОЛГОФА

Ах, какой необычный  
Белый свет над землей.  
Вот и стало привычным  
Расставанье с тобой.

Одуванчик, береза ль –  
Встанут белым крестом.  
И над каждым – круг розовый  
Мне оставлен Христом.

В бело-розовом свете  
Сквозь души моей дым  
Вижу я – мы, как дети,  
Вкруг Голгофы стоим.

Как далеко распятыя  
Отодвинута тьма –  
Свет ли... белое платье...  
Только где ты сама?

Розоватым цветеньем  
Мир окинула ты.  
И весной Воскресенья  
Дышим мы, как цветы.

В душу радостью дышит  
Мировой твой покров.  
Все светлее, все тише  
Свет сияет Христов.

Вспыхнет золотом место,  
Где распят был Господь.  
Там воскреснет невеста –  
Моя кровь, моя плоть.

Очи – черные схимы  
 В смутлом свете лампад...  
 -А сегодня, любимый.  
 Предан ты и распят.

### 8. ПЕРЕД ПЛАВАНИЕМ

Тропа от кладбища до дома.  
 Мир поседел. Как в серебре –  
 Берез июньская истома,  
 Христос, чуть видный в алтаре.

Белее грезы одуванчик  
 На повороте в Китеж-град  
 Темней рябину обозначит,  
 Светлей – твой в памяти наряд.

Где свежий холмик за оградой,  
 Не он ли въяве мне мелькнул?  
 Верь, ничего тебе не надо! –  
 Не твой ли голос мне шепнул?

Звончей он колец серебрястых,  
 И в каждом – свет, и в каждом – лик.  
 И стал весь мир лишь только пристань  
 В пути к тебе на материк.

Волна спокойно золотая  
 Сокрыла сердца злой утес,  
 Где в плаванье благословляет  
 Меня кладбищенский Христос.

### 9. ВОЗНЕСЕНИЕ

Березы кладбища тлетворны,  
 И белорукие их сны  
 К нам тянут в сердце свой притворный  
 Свет сатанинской белизны.

Сегодня праздник Вознесенья,  
 И зацветают все цветы.  
 И здесь распластанные тенью –  
 Там, в небесах, цветут кресты.

Цветы сегодня расцветают:  
 Они в стоцветный рай Христа  
 На небо, плача, провожают  
 Под сень вселенского креста.

Он сорок дней в пещере мира  
 Ходил и кротко ожидал,  
 Чтобы весны проснулась лира,  
 Цветов акафист зазвучал.

Сегодня праздник Вознесенья  
 Уносит душу к небесам –  
 И мира бренного цветенье  
 Нам обещает встречу там.

Из белоруких снов живая  
 Моя душа к тебе летит,  
 И в белизне земного рая  
 Мрак расставания разлит.

Твои ли очи, руки глина  
 Целует жадная взасос.  
 И кудри – только паутина,  
 Чтоб все – в цветах отозвалось.

Чтоб все притворно отразилось  
Здесь, в белоруком грешном сне,  
Ко мне тянулось, но – явилось  
Там – в непорочной белизне.

**10.**

Еще закончен день унылый.  
Как красный гроб, стоит кровать.  
И умирать-то мне постыло,  
И страшно мне не умирать.

Жена печальная хлопочет,  
А у соседей, как шальной,  
Машины дьявол злой хохочет  
И надо мной и подо мной.

Но все, как в черную воронку,  
Ночь, ночь беззвездная вберет.  
Об этом в полночь громко-громко  
Какой-то пьяный пропоет.

И станет черным-черным сердце,  
И станет черной-черной кровь.  
Три фотографии в конверте –  
Три черных слова про любовь.

Я трус! – вскочу. Вскочу – ударюсь  
О свет стеклянный и сухой.  
Шепну: ну, я с тобой расправлюсь!..  
А с кем – с тобой? А с кем – с тобой?..

**11. МАДРИГАЛЫ.  
В БЕЛОМ, С ЖЕЛТЫМИ ЦВЕТАМИ**

Июнь. Мерцает светом белым  
Собор в окне. Сегодня ты –  
Как будто поле пожелтело –  
По платью белому цветы.

И отраженье набегает  
На тьму души моей озер.  
Глубь белокаменно качает  
Тебя, души моей собор.

Уже, то радуясь, то плача,  
Я плавных бликов свет постиг.  
Ты так тонка, ты так прозрачна,  
Ты так струишься каждый миг!

За белым, зыбким отраженьем  
Рябит, пугая, смерти рай.  
Туда, туда круговращеньем  
Ее ты, время, не вбирай!..

Запечатлеть с внезапной силой  
Дай мне любимые черты,  
Взглянуть еще – хоть очи милой,  
Как рок, темны.

**12.**

Грез одуванчиков блее  
Сегодня летний твой наряд.  
В нем лилий линии смее  
Сквозь дымку вечера глядят.



И душу плавно отраженье  
 Качнет, и вспыхнет, как во сне,  
 Живой, телесный свет томленья  
 И стебель стана в глубине.

Туда, где бело ходят тени,  
 Где легкой рябью схвачен храм –  
 В цветы плавучие, в колени,  
 К твоим подводным образам

Тонуть. Молиться им. И снова  
 Из сна проваливаться в сон...  
 Там схима сумрака иного.  
 Прощальный колокола звон.

### 13.

Что же хочешь ты, глупое сердце,  
 С кем ведешь ты отчаянно спор,  
 Пока музыка эта играет  
 И чарует безжалостный взор?

И ответило глупое сердце?  
 -Нам пора за работу опять:  
 Вот кусок благовонный эбена –  
 Будем черные стружки строгать!

Завились чернокудрые стружки.  
 Плачет музыка. Дело идет.  
 Кукла смуглая к белой подружке  
 Вокруг сердца встает в хоровод.

И за то, что я вырезал тонкий  
 Стан и схожею сделал с мечтой,  
 И за то, что вдохнул в нее душу –  
 Засмеялась она надо мной.

Пока музыка эта играет,  
 И презрительно дразнит она,  
 Что ты требуешь, глупое сердце.  
 С той, что так и тонка, и темна?

И ответило глупое сердце:  
 – Пока спор не проигран совсем,  
 Где твой нож? Ты последним ударом  
 Преврати меня в черный эбен.

### 14. НАДЕЖДА ТЕПЛОВА-ТЕРЮХИНА

*Приду на краткое свиданье,  
 Скажу, что я узнала там...  
 Н. Теплова*

*Меня душой возвысит снова,  
 Одна любовь, одна любовь!  
 Н. Теплова*

Жила в Москве когда-то Надя  
 Терюхина. Была она,  
 Жена и мать, одной отраде –  
 Любви небесной предана.

Сгорает дух в страстях, как факел,  
 Из семицветных лент и жал.  
 Хочу, чтоб ваш, Надежда, ангел  
 Ко мне на землю прилетал.

Пурпурный звук зовет любовьюю  
 От мук – к небесному Отцу.  
 Вот умер муж. Вновь к изголовью –  
 Целуй лик сына мертвецу...

Простой мирянки, ваши песни  
 Неженской дышат чистотой:  
 Синь незабудок – с неба вести  
 За строф оградою стальной.

Как в воске рук не уменьшалась  
 Просветно-страстная свеча,  
 Как вдовья Нади утиралась  
 Душа у Родины ручья!..

Я вас люблю! На этом свете  
 Свиданья жду. Я отражал  
 Ваш образ, Надя, в лунном свете  
 Моих мистических зеркал.

Здесь незабудковое слово  
 Любви небесной брошу в прах.  
 Там, о Терюхина-Теплова,  
 Вы о моих молитесь снах!

## 15.

Я целовал надгробный камень,  
 Твой, глыба времени, гранит.  
 Береза, молоком фонтаня,  
 Чью здесь свободу сторожит?

Моя любовь к тебе свободна,  
 Как тот, что весь землю стал.  
 Я в этом клялся, я холодный  
 Надгробный камень целовал.

Где в огоньках июньских клевер,  
 Где блики синие стрекоз,  
 На старой паперти – мне верил  
 Из ниш поруганный Христос.

На старой паперти, где с лика,  
 Из ран гвоздиных каплет кровь –  
 Кладбищенская земляника.  
 Моя нездешняя любовь!

## 16. СМЕРТЬ АТЕИСТА

Злой проповедник, раб свободы  
 В мученьях долгих умирал.  
 Мир от земли до небосвода  
 Пред ним пустынею предстал.

Сокрыта жизнь завесой мгlistой –  
 Бессилен морфий, страшен рак:  
 То над душою атеиста  
 Господь простер последний мрак.

Но смерти горную дорогу  
 Не различить слепым умом.  
 И он считал: еще немного –  
 Все вечным оборвется сном.

И сон пришел, окутал серым  
 Золы мерцаньем и свинца.  
 Как из руин забытой веры –  
 Тень встала женского лица.

Куда зовешь ты, молодая,  
 В вишневом платье, милый друг!  
 Лик темнокудрый окружая,  
 Как пела тьма твоя вокруг!

И, как живое, платье пело,  
 И он впивал твой смуглый свет,  
 И унесло его к пределам,  
 Где смерти нет и жизни нет.

Во глубине сухой и мглистой,  
 Как бы чуть дышащих зеркал,  
 Напев укачивает чистый...  
 Вдруг он проснулся, застонал.

И понял, что еще не умер,  
 Что он не умер – тоже сон –  
 И в этом сне, где стонет зуммер  
 Все той же боли – видит он

Все тот же образ, обещая,  
 Что есть еще предел иной,  
 Все манит душу, поглощая  
 Снов бесконечной чередой.

## 17. ХУДОЖНИК ПИСКАРЕВ

*Пискарев – петербургонский художник  
 из повести Гоголя «Невский проспект».*

Искусство – дело святотатца.  
 Красе продажной – нет венцов.  
 Но рок – зовет. Стал подниматься  
 По лестнице к ней Пискарев.

Где демон бала сплел объятья,  
 Какою музыкой больной  
 Ее сиреневое платье  
 Вдруг задышало под рукой!

Как он сидел, изнеможенный,  
 Еще не знал, что это – смерть.  
 Одной мечтою пораженный:  
 Смотреть на милую, смотреть!..

Разбудит жизни грубый голос  
 Тебя, художник Пискарев,  
 Чтобы душа вдруг раскололась,  
 Как мир, на тысячу кусков.

– Дай, дай мне яду, персиянин,  
 Чтоб образ радостный сбережь,  
 Чтобы в душе моей, как в ране,  
 Жег милый взор, сверкала речь!..

Искусство – дело святотатца:  
 Когда нездешний вспыхнет свет –  
 Решай – взойти к ней иль остаться  
 Тебе под лестницей, поэт.

## 18.

Зафиолетовеет клевер,  
 У лета белым станет луг  
 От одуванчиков. Поверил  
 Тебе не зря я, милый друг.

Уж полн тяжелым, душным медом  
 Литого звука – сот души.  
 Тебе – житейская свобода,  
 А мне – тоски моей ножи.

А мне – предчувствие террора,  
 Мой неоконченный роман;  
 А мне – задернутая штора,  
 Табачный дым, ночной туман.

Отдерну штору к звездам в прорубь,  
 Застынет в ней души полет.  
 Глагол святой, как белый голубь,  
 С таких небес не снизойдет.

Отражена в них глубь иная,  
Где замурован образ твой,  
Где чей-то плач не умолкает  
О нас пред темною стеной.

## 19.

Мне снился сон, как будто в смертной дреме  
Забылся я и вновь себя сыскал  
Уж не в земном, знакомом сердцу доме,  
А отраженном в глубине зеркал.

Вся жизнь моя погаснувшей картиной  
Там становилась. Вечер наступал.  
И в этой мгле моей неодолимой  
Твой милый образ смутно замерцал.

Был образ, как летеискою волною  
Колеблем, и текуч, как черный шелк.  
И недоступной страстностью земною  
Уже он сердце взволновать не мог.

В угасшем сердце – ни тоски, ни страха,  
В нем только тени вечного пути:  
Как образ твой из этой тьмы и праха,  
Твой милый образ к Богу донести?

Как, если мы с тобой лишь отраженья  
На бездне вод – и с радуги креста  
Глядит Господь, чтоб двух теней томленья  
Вдруг вознесла лучами высота?..

## 20. КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧЬ

Черный мрамор над дочкой купеческой,  
Склеп в дудыльниках празднично бел:  
Это руки девичьи просвечивают,  
Локотки – из развилок стрел.

Я с могильной кривой черемухи  
Недозрелую кисть сорву.  
Это – четки твои, мне – оском грехи  
Черномраморных ягод во рту.

Я пойму, что жизни, как не было,  
Безысходная ночь меня ждет.  
Твоего дудыльника белого  
Локоток прохладный кольнет.

Зазвенят из земли колокольчики,  
Склеп – каретой свадебной стал...  
Обвенчаться с купеческой дочкою  
Обещанье я разве давал?

Одуванчики кругло заокали,  
Серебристо вздохнула тишь.  
Белый зонтик склонив, черноокая,  
Что ты шепчешь мне, что так глядишь?

Там иконы твои – охры красные,  
Там лампадки заправлены тьмой...  
Душу спутали травы страстные  
И пронзили стрелы мольбой.

Белорукие душат сны меня,  
Обнимает свадебный куст.  
Моя милая, не зови меня,  
Не зови меня, я не решусь!

## 21.

Вы не верите в Бога, так что же над вами  
 Все сильнее разгорается свет.  
 Вашу душу на Троицу хвалит стихами  
 Белый ангел июня, небесный поэт.

В этом мире не слышно утешного звона,  
 Иерей стал иудой, а храм осквернен.  
 Так зачем предо мной, как живая икона,  
 Встали вы меж туманных российских икон?

Снова слышу в душе белых крыльев цветенье,  
 Возмущающих силой своей Силоам,  
 И в березах, как ангелов белых движенье,  
 И мерцает сквозь мир неразрушенный храм.

Разгорается свет. Вы не верите в Бога.  
 Что ж от вашей иконы все светлей среди берез?  
 Так для грешного сердца надо веры немного,  
 Так ко грешному сердцу снисходит Христос.

Вы услышите его, уже близок Господень  
 Страшный день, и грехов приближается счет.  
 Затуманится кровью березовый полдень,  
 Чашу ярости в каждое сердце плеснет.

Снова встанут убийцы на каждом пороге,  
 Кинут жребий, кровавые ризы деля.  
 Растопив злую ненависть в огненном роге,  
 Вновь проскачат по Родине Карна и Жля.

И азийские орды на пламя террора  
 Будут мчаться и мчаться. Мы погибнем в бою.  
 Разгорается свет... Значит, встречу я скоро  
 Вашу чистую душу в белоцветном раю.

## 22. ЧАСОВНЯ ПО КНЯЗЮ ЮРИЮ

На старом кладбище, где белой таволги  
 Дыханье райское цветы хранят,  
 От охры матери, подземной радуги,  
 Ведет дорога в иконный сад.

А там – церковные песнопения,  
 В цветной оконнице – горячий звон:  
 Песков ли кварцевые сновидения  
 Или кузнечики былых времен!..

Играет музыка. Мне – доля царская.  
 И луч отточенный, как сталь, сверкнет.  
 И вновь лежу я на настe мартовском –  
 Татарский клевер сквозь грудь цветет.

Мечом ли рублены, копьём ли мечены,  
 Здесь, души русские, процвел ваш лик:  
 Цветком из ладанок заветных вечности  
 Ваш фиолетовый прорвался крик,

Как изготовились мы перед приступом,  
 Как обошли нас в последний час,  
 И как в гробу меня несли епископы  
 И плоть изрубленная моя срослась.

В иконных снах моих идут пустынноики,  
 Собирают желтую по Сити кость.  
 Стоит часовня в седом пустырнике,  
 Крест деревянный немного вкось.

## 23.

Листву охватит трепетанье,  
И вновь – осоковая тишь,  
И ряби утренней блистанье –  
Земля, ты так меня томишь!

Томленью твоему ответил  
Охряной крови в сердце гул –  
Погибших ужас или ветер  
Траву, как волос, шевельнул?

Объял луга пожар зеленый.  
Как угли, рдеет иван-чай,  
И шмель над ним поёт влюблённо.  
И ты – томись, и ты – пылай!

Откуда ж взять душе свободы –  
На лепестки всю плоть иссечь? –  
Цветов и тела, храмов своды –  
Весь мир – как огненная печь.

## 24. САМОЗВАНЕЦ

Старый крест под елью темной –  
Подойди и все узнай! –  
Вкруг него багровый, сонный  
Встал стеною иван-чай.

Озаренный светом этих  
Кровянисто-рдяных свеч,  
Я уже у жизни в нетях,  
Как в земле до самых плеч.

Из цветного мрака тени  
Изнутри всплывут к глазам  
Из твоей шуршащей теми,  
Храм земли и тела храм.

Сном тяжелым очарован,  
Тускло вижу, как в ночи, –  
Я стою, живьем вмурован,  
В сваю толстую свечи.

Вижу я – на тех же сваях  
Свеч погасших утверждён  
Вкруг меня, земля сырая,  
Твой подземный Парфенон.

Сверху радуга цветная  
Вдруг сложилась костром –  
То земли душа живая  
В душу тянется лучом.

Самый длинный, золотистый  
Надо мной колеблет рог –  
Свет охряный, свет землистый  
Душной пылью в душу лег.

Вниз его рукою тянет –  
Как, откуда он возник? –  
И зовет меня, и манит  
Ближе к свету мой двойник.

Душным светом бронзовеет  
Предо мной арены круг.  
И зудит, и ноет злее  
Света бронзового звук.

И уже я в круге этом  
Вопросительно стою,  
А двойник мой, там, за светом,  
Рвет локтями тьму свою.

Он сумеет свет заставить  
Плотяным составом стать,  
Смерти воск слепой расплавить  
Ваших лиц, отец и мать.

Он возвышенную тайну  
Света страстного постиг,  
Мой помощник, друг случайный,  
Мой обманщик, мой двойник.

Машет, машет он руками  
И на месте не стоит.  
Что же хитрыми глазами  
Мне в глаза он не глядит?

Я – поэт, он – постановщик,  
Вкруг меня взмутивший мрак.  
Что ж фамилию не хочет  
Мне свою назвать никак?

Разве эту тьму живую  
Нашим светом растопить?  
Всех трагедий восковую  
Маску нам не оживить.

И бессильной столько боли,  
Столько устали во мне.  
Люди, люди, ваши роли  
В земляном уснули сне.

И висит костром стеклянным  
Из разрубленных лучей  
Брус бутылочный и рдяный  
Высоко над тьмой моей.

И угрюмый постановщик –  
Кто он, друг мне или враг? –  
Мой обманщик, мой помощник,  
Унырнул опять во мрак.

Кто же он?.. Вопрос нескромный –  
Сам иди да попытай  
Там, где крест под елью темной,  
Где багровый иван-чай.

Озаренный светом этих  
Кровянисто-рдяных свеч,  
Станешь ты у жизни в нетях,  
Как в земле до самых плеч.

Из цветного мрака тени  
Изнутри всплывут к глазам,  
Из твоей шуршащей темноты.  
Храм земли и тела храм.

И поверит сердца морок  
В Ту, что скоро вступит в храм  
И в словесных плат узорах  
Сбросит с плеч к твоим ногам.

И тогда зажгутся свечи,  
Зацветет словесный плат,  
И по плату к жизни вечной  
Свет дороги заструят.

Будет плакать и метаться  
За спиною темный лик,  
Будет тускло отражаться  
Долго гаснуть мой двойник.

Станет радугой над вами  
Эта охра всех цветов, –  
Дышит в душу мне словами  
Твой, Владычица, Покров.

## Глава ТРЕТЬЯ

### Твой Китеж

#### 1. В КИТЕЖЕ

Твоя в шиповнике ограда,  
А за оградой туман.  
В тумане – старый дом, веранда,  
В углу – продавленный диван.

Опять на сердце дождик хмурый,  
Не размотать клубок судьбы.  
Лук деревянного Амура  
В меня все целит из резьбы.

Тоска прозрачна, как пустая  
Бутылка эта. А в окно  
Глядит шиповник, опускает  
Цветы в вечернее вино.

А там, под лиственным узором,  
Друзья уездной темноты,  
Иных миров салатным взором  
С заборов щурятся коты.

Зачем хозяин столько курит,  
Про сини очи говорит?  
А во дворе от сизой хмури  
Покой таинственный разлит.

Но разве я ему поверю?  
Я ухожу привычно прочь.  
Многоочитым звездным зверем  
На грудь у двери вспрыгнет ночь.

Мне ясно все. Вопросов – хватит.  
Ведет тропинка меж крестов.  
Ему – с веранды, до кровати –  
Пустяк, дуэльных семь шагов.

Ты не обманывай – я знаю,  
Чей ты портрет в столе хранишь,  
Зачем, влюбленного играя,  
Про сини очи говоришь.

Ведь мы давно не люди – духи:  
Все понимаем и молчим,  
И лопухами крыльев глухо  
Тропой кладбищенской шуршим.

В провинции такие звезды –  
Заплачешь – станут утешать.  
Свое мы не жили, но поздно  
Нам стало даже умирать.

И я – не я, а чья-то злая  
Личина в старом пиджаке,  
Не мертвая и не живая –  
Лишь время бьется на руке.

Всех этих крыш, домов, заборов,  
Крапив, черемух, лопухов  
Давно уж нет – унес в просторы  
Далекий призрак облаков.



Куда ж Россия проскакала,  
Грозовой тучей пронеслась,  
Какого Китежа искала,  
Им от отчаянья пленясь?

Да, может, здесь и есть он, Китеж,  
Для духа слабого обман?  
Чего ты ждешь, чего ты ищешь,  
Зачем ты звездный пьешь туман?

Как страшно быть забытым Богом,  
Как страшно просто русским быть  
И в этом Китеже убогом  
На звезды очи возводить.

И там, где старый заключенный  
Бордовой глиной завалил  
Мой гроб – стою я удрученный  
В своей стране живых могил.

## 2. МЕРТВЫЕ

*Посмотрел на ребенка и молвил:  
«Видишь ты кровавую ранку?  
Это зуб вурдалака, поверь мне».*

*А. Пушкин.*

Окошки желтые. Рябина.  
И космы спутанных берез.  
Как в землю, мир наполовину  
Во сны души глухие врос.

Чертополоха крест раскинул,  
Вознес суставчатый размах.  
Чья, чья распятая судьбина  
В его запекшихся шттырях?

Опять, как дьявол, черный пудель  
На грудь мне броситься готов  
У кладбища, поближе к груде  
Цветов бумажных и венков.

Разрушен склеп. Сворочен камень.  
Бунт и бессильная алчба.  
И серафимских крыльев пламень  
На храме душит лебеда.

Сон лета бело-фиолетов,  
В нем грезит молнией волчец,  
В нем тихо шепчет с того света  
Мне глина красная сердец.

О том, что люди неживые  
Днем обращаются в живых.  
А там, гляди, по всей России  
На детской шее – зубы их.

Они – расстрелянные нами,  
Замученные без числа.  
Молитесь – мертвыми их снами,  
Как тучей, жизнь обнесена.

Пируют демоны глухие,  
Расписанные под людей.  
И мрак кладбищенский Россией  
Овладевает все сильней.

## 3. ОГОРОДНИК

Мой огород оплел шиповник,  
Цветы на солнце припекло.  
Я у тебя один поклонник –  
Так на душе моей светло.

Успел сходить до магазина,  
Купил и хлеба и вина.  
И красной, спелую корзина  
Тебе смородиной полна.

Придешь ты завтра на работу,  
Встревожит душу синий свет –  
Твои глаза синей осота,  
Синей тебя, перунов цвет...

Ты спросишь, где же пропадает  
Мой полосатый старый кот.  
На сердце музыка играет,  
Иль это радио поет?..

И вижу я: идешь ты в алой,  
Промокшей блузке босиком,  
И улыбаешься устало,  
Слегка объятая дождем.

Смугла, прохладна, словно красной  
Смородины большая кисть.  
И я – мгновенье так прекрасно! –  
Забыл шепнуть: остановись!..

Травы душистой, огуречной  
Голубоокий я пучок  
На стол кладу, чтоб тайной вечной  
Всю ночь душил и сердце жег.

И всю-то ночь корабль воздушный,  
Где Хмель – мой верный капитан,  
Меня несет к тебе послушно  
Сквозь сладкий голубой туман.

#### 4. ВСТРЕЧА

Сквозняк заброшенного храма  
Окрашен в синий цвет стеклом.  
И на железной крыше прямо  
Рдел бузины пурпурный гром.

И захотелось, как мальчишке,  
В окно церковное взглянуть,  
И здесь, в крапиве, здесь, в затишке,  
Цветного холода глотнуть.

Но меж могил, косноязычно  
Ругаясь, шел простоволос  
Какой-то пьяный, и привычно  
За ним бежал костлявый пес.

Ах, как некстати эта встреча!  
Глаза я в сторону отвел:  
На взор его ответить нечем.  
Так он бессмысленно тяжел.

Уж не его ли я когда-то  
В телеге тряской в глину свез,  
И это помнит соглядатай,  
Его костлявый серый пес?

И злая сеть одной тревоги  
Сердца опутала двоих,  
И сразу спутались дороги,  
Дороги мертвых и живых.

Куда ж идти? Осколясь грозно,  
Прохода пес мне не дает.  
Теперь сворачивай, уж поздно –  
Иди, куда тропа ведет.

И я пошел туда, где мертвый  
 Многоэтажный дом серел  
 В своей бессмысленности гордой  
 И в суете убогих дел.

Я в дом вошел, чтобы о чуде,  
 Со мною бывшем, рассказать.  
 Но в комнатах угрюмых люди  
 Одно твердили – убивать!..

Гремело радио, как дьявол,  
 Мне душу выпили до дна.  
 И где-то рядом с нею плавал  
 Сквозняк церковного окна.

И понял я: я просто трушу,  
 И злая дума залегла:  
 Сгубить бы снова эту душу,  
 Что мне дорогу перешла...

## 5. СГОРЕВШИЕ СНЫ

Закат был красный и холодный,  
 Как будто там, на небесах,  
 Объял пожар мой мир бесплотный,  
 Который создал я во снах.

И вот я выбежал из дома,  
 Чтобы успеть вбежать туда –  
 Ведь на кустах по-молодому  
 Еще горит моя беда.

И тень небесная пожара,  
 Как смерть, приблизилась ко мне –  
 Полсердца в мороке угара,  
 Полсердца снова, как во сне.

И тень небесная достала  
 Меня копьем своим опять.  
 И сердце стало, сердце стало  
 Пожитки бедные спасать.

Меж слюдяных моих оконниц  
 Польшет весело огонь.  
 Меня – с раскатов и со звонниц,  
 Меня – топтал татарский конь.

И был Иван мне младшим братом,  
 А старшим братом был Илья.  
 И снова грозный царь пернатых  
 Мне возвратил тебя, земля.

И вот сижу в тиши подвала  
 Я над обугленным листом –  
 Вот все, что так душе мерцало,  
 Что так томило в прожитом.

## 6.

Я телесные очи сомкнул,  
 И отверзлись духовные очи –  
 Наплывает неведомый гул,  
 И звенит, и зовёт колокольчик.

Среди пестрой, бездумной толпы  
 То тревожней звенит, то беспечней,  
 Где из меди литые столпы  
 Утвердила на площади вечность.

Перед судным высоким крыльцом  
 Собрались все цари и народы,  
 И почившие в муках с Христом,  
 И убийцы во имя свободы.

Свои действия земная история  
 Повторяет перед судным крыльцом.  
 Где же судьи? А судьи все спорят!  
 Судьи спорят – и мы подождем.

## 7.

На паперти какого храма  
 Мы здесь стоим перед судом?  
 Один молчит – другой упрямо  
 Грозит и молит о своем.

Как змея пестрого – извивы  
 Толпы изогнуты мирской.  
 Хвост очереди самолюбивой  
 Пошли и мы искать с тобой.

Я лед руки твоей сжимаю,  
 Вокруг стоят за рядом ряд.  
 Кто, кто последний? – я взываю –  
 Они не знают и молчат.

Ты в фиолетовом наряде,  
 Ты вся, как ледяной цветок...  
 Где ты теперь, в котором ряде? –  
 Я отыскать тебя не смог.

Я видел умершего брата,  
 Убийц, поэтов и царей,  
 Лик Соломона, взор Сократа  
 И русских всех богатырей.

В змеином всех веков узоре  
 Где, где тебя я потерял?  
 И опрокинут, вскрикнул вскоре  
 Во тьме погаснувших зеркал.

Здесь тьма и тень – мои соседи,  
 И вспышки душные зарниц.  
 Погас в сиянье ясном меди  
 Пергамент древний мудрых лиц.

Был страх, отчаянье азарта,  
 И сердца стук в груди пропал.  
 Я падал вниз, и бор из марта  
 Слепящим снегом замерзал.

И слух наполнил наста скрежет,  
 А душу – синева полей,  
 И я упал, прижался к свежей  
 Земной проталинке своей.

\*\*\*

На берегу старинный, белый  
 Цвел храма радужного свод.  
 Зазубрен наст обледенелый,  
 Кровь по рукам моим течет...

Младенца нового крестили.  
 Несли в голодное село.  
 Был день восьмой. Мою в России  
 Кровь на опушке замело.

## 8.

Свинцово небо. Так свинцово,  
 Как дума всех прожитых лет.  
 Что ж сквозь нее я слышу снова  
 Звук тихой музыки в ответ?

Опять ведет тропа сырая  
 Между кладбищенских крестов.  
 Здесь громче музыка играет –  
 Душа моих сгоревших снов.

Я вижу дом многоэтажный –  
Его б забыть, как серый сон.  
Но счастья призраком отважным  
Из музыки всплывает он.

И нет для сердца вспомнить слаще,  
Как вел меня сквозь чашу дней  
Твой диск цветной, твой круг звучащий,  
Шарманка юности моей.

## 9.

Я молод был. И ты не смела  
Мне сердце отравить борьбой.  
И лишь с тоской влюбленной пела  
Из очереди мировой.

С тех пор заглядываю жадно  
Земным я женщинам в глаза.  
Осенней охрой смотрят хладно  
Твои живые образа.

Просветна этой жизни бездна,  
Твой стан подобен в ней лучу.  
Луч обвивая бесполезно,  
Витками музыки лечу.

Мои зазубренные листья,  
Чет или нечет лепестков –  
Твой свет звучащий не исчислят,  
Лишь обозначат твой покров.

## 10.

Покуда звуки не погасли,  
Мир воскресает в их мольбе.  
И Вифлеема светят ясли  
В убогой комнате тебе.

Не выходить совсем из дому,  
Писать стихи, читать Псалтырь,  
Чтоб крест оконного проема  
Всю ночь светил в глухую ширь.

А вдруг Россия там проснулась  
От заколдованного сна,  
И бездна площадей и улиц  
Вновь явью старую полна?

И кровью в буквы страшной книги  
Ее вписались мертвецы.  
С многоголового расстриги  
Царевы сорваны венцы.

У настоящих магазинов,  
Где настоящая толпа,  
Хрустит в пыли его личины  
Раскрашенная скорлупа.

И я сойду в вечерний город:  
Налей, свобода, мне вина!  
И в грудь вонзится тонкий холод –  
Взгляд Блока или Кузмина.

## 11.

На бедной глине, как работник,  
Стеблист, коленчат, тонкотел,  
По косогору встал икотник –  
И косогор весь побелел.

Но свадьба света побурела  
И кладбищ охрой налилась –  
Пройдя сквозь мир в цветенье белом –  
Твоих лучей свободна связь.

Впитала память все соцветья  
Твоих кладбищенских цветов,  
Укрыл все муки, все столетья  
Твой переливчатый покров.

## 12. ПОМИНОВЕНИЕ

*Владимиру Гоголеву*

### I.

В туманном марте с маленькою дочкой  
Гуляли мы у старого собора,  
Обставленного новыми лесами.  
Глядели, как о белые колонны  
Там солнце разбивало зеркала  
И площадь всю усыпали осколки.

Я думал о стихах, о том, что известь  
И синева разгульная, и дочки  
Весенний голос: – Папа, погляди! –  
Все это может стать стихотвореньем,  
Кабы сошло на душу вдохновенье,  
Кабы не серый ком в душе унынья.

Пришли домой. И в комнате дремотной  
И солнечной – был серый сон бессилья:  
Так у собора в холоде пристенном  
В тенях парили стылые сугробы.  
И я, задумавшись, достал из шкафа  
Тетрадку, называемую «Стража».

Я помню, как сосредоточась грустно,  
Знакомые два-три стихотворенья  
Я прочитал – что на людей наброшен  
Вещной покров, как изваяний плат:  
И лишь узоры листьев и цветов  
О тайне Бога говорят неясно;

Что надо стать землей, сырой землею,  
Смирить себя – и влагою всочится,  
Цветя в очах, божественная тайна.  
И положил я книгу. Голубою  
Водой в душе, я крепко помню – снизу  
Глаза мерцали, тайно вопрошая.

Глаза его бесхитростного цвета  
Мне вспомнились. И темно-русый волос –  
Все скрылось снова в мартовском тумане:  
Собор, у стен сугробы, голос дочки  
Крикливо звонкий: -Папа, погляди! –  
Все, рвущееся стать стихотвореньем.

### II.

В ту ночь привиделся мне сон. Да сном ли  
Назвать такое? Будто тает, тает  
Во мне собор, туман, густое солнце  
И небо яркое – и теплым воском  
Церковных свеч мне душу затопляет,  
И кроет белым дышащим покровом.

С испода на покрове женский образ  
(Мне снявшийся не раз, но в разных лицах)  
Теплом молочно-белым, голубиным  
И тихим светом он, с душой совпавший,  
Меня объял. И я, дыша им, понял,  
Что были образ и покров одно.

Она сидела за работой. Ткани  
Воздушные, все в травах медоносных,  
Цветах, разрезывали и шивала.  
И тихими словами, словно пчелы.  
Мы те цветы воздушные качали.  
И пристально следил я за работой.

И вдруг спросил, кому она готовит  
Наряд такой? Она не отвечала  
И продолжала шить. Лишь улыбнулась  
Улыбкою своей неизъяснимой.  
И я тепло лилово-алой ткани  
Рукой погладил и спросил опять.

Плеча ли жаркого я чуть коснулся:  
Она была, как ясный, летний полдень –  
И вдруг ко мне привстала и устами,  
Как луч, моих слегка коснулась уст.  
Но поцелуй чужим, прохладным был – он занят  
Из прошлых лет был у моей невесты.

Рванулся я обнять ее, но обнял  
Печальный, ласковый, цветущий воздух,  
Наполнивший прозрачной силой душу.  
А образ весь окинуло туманной  
Застылой дымкой и замуровало,  
И голос, застывая, стал алмазом.

### III.

С тех пор я думаю: в туманном марте  
Я умер и опять проснулся в мире  
Земном, знакомом, но к нему примешан  
Был райский свет. Я помню это утро:  
Я встал, с женою начал говорить,  
И слово каждое по-новому звучало.

И всюду в солнечных лучах сырой  
Весны – дышал мне плат ее знакомый,  
И сквозь него мне музыка звучала,  
И внешних слов обыденный объем  
С неизъяснимым внутренним объемом  
Уравновешивал во мне два мира.

Как камешки цветные на реке,  
Что вымыты из глинистых откосов,  
Сбирает ученик иконописца –  
Так горсточку понравившихся слов  
Я в шуме подобрал мирском. И робко  
Прикинул их достоинство и яркость.

И радуга небесная во мне  
Отозвалась цветам оземленевшим,  
И слово засновало, как челнок,  
Из мира в душу, и цветную нитку  
Ты – продолжался сон – опять связала,  
Когда она во мне оборвалась.

В туманном марте у собора. Свет  
Неясный. И еще немое сердце.  
Все – то, и все – не то. Все – как живое.  
Должно быть, это люди и зовут  
Стихами. Дочка и жена, глядите,  
Все это сам я сочинил!.. Читай!

Вовне и внутрь звучат слова ревниво,  
Но, в мир войдя, как тени, умирают,  
Не выдержав, видать, сопротивления  
Простого воздуха квартиры. Дочка  
Еще мало. Жене усталой не до  
Стихов. И вдруг приносят почту.

Письмо от друга! Не было вестей  
Который год. И вслух жена читает,  
Как в марте ночью зверски был убит

И сброшен вниз, истерзанный, с откоса  
Собрат по «Сретенью», поэт и переплетчик,  
Мне подаривший молчаливо «Стражу»...

И понял я, кому ты вышивала  
Покров небесный. Почему прохладен  
Был поцелуй твой, и каким теплом  
Он мучеников укрепляет – им ты  
Мои уста и сердце разомкнула  
Поминовенье это совершить.

#### IV.

Я не молился той весной. А если  
И начинал – дойду до «Трисвятого» –  
Туманным светом, музыкой лучится,  
Встает твое лицо. И я шепчу  
Какое-то признание или имя  
Той, что тебя чуть-чуть напоминает.

О смерти думал странно, без испуга:  
Что стоит лишь удобней лечь на спину –  
Она зальет иконною олифой  
Меня в ковчеге вечности златом,  
Где вваян образ твой. Так искушала  
Любовь к тебе скорее умереть.

### 13. ОТРЕЧЕНИЕ

И к костерку склонившись ниже,  
Чтоб ты моих не видел глаз,  
Я всем скажу: его я вижу,  
Его я вижу в первый раз.

И отойду я в тень забора,  
Вчера творивший чудеса,  
Чтоб в тайне страшного позора  
Ночные слушать голоса.

Обрывки будут вспоминаться  
Еще вчера всемогущих слов.  
И сколько раз мне отказаться  
От них до крика петухов?..

Я плачу, Боже, в этой муке  
Нет силы верить мне и жить,  
И на себя нет силы руки  
Мне, как Иуде, наложить.

И вновь к претории проклятой  
Во мрак предательства с толпой  
Иду, как жалкий соглядатай,  
За арестованным, тобой.

Тебя к столбу легионеры  
Привяжут, будут сечь бичом.  
А я опять, теряя веру,  
Замру, как трус, над костерком.

### 15. НОЧЬ НА 17 ИЮЛЯ 1918 года

Я помню этот день суровый,  
Когда Россия умерла,  
И отошел во мрак лиловый  
Венец высокого чела.

Но не закрыты были очи,  
И в их таинственную тишь  
Душе, принявшей образ ночи,  
Я повторял: что ж ты молчишь?



С тех пор я вскакиваю с криком  
От снов России пробужден,  
Мне в их кошмаре многоликом  
Один и тот же снится сон.

Заброшен в ночь какой-то хутор,  
В ничто срывается крыльцо,  
И злые звезды всходят круто,  
Чтоб заглянуть в мое лицо.

И отделяется от ночи,  
И отделяются от звезд  
Ее таинственные очи,  
И тень лица, и тьма волос.

И сколько нам еще томиться,  
Не умирать, но и не жить?..  
Твоей расстрелянной царице  
Грехов таких не замолить.

## Глава ЧЕТВЕРТАЯ

### Плач во тьме

#### 1.

Мне двадцать лет. Твои колени  
Сквозь теплый платя синий край  
Целую я. Цветные тени  
Твои влекут, уводят в рай.

Туда, где встал, сокрытый далью,  
На страже ангел у ворот,  
И где весь год иван-да-марья  
Вокруг стены большой цветет...

И долго, долго это платье  
Меня влекло лучистым сном.  
Но не распалось врат залягье,  
И ангел с огненным мечом

Нахлынул, как алмазный ветер,  
И мне пронзил сияньем грудь.  
И превратился сон мой в пепел,  
И тьмою стал лучистый путь.

## 2.

Где любовь с красотой развенчаны  
И затоптаны в грязный песок, –  
Тонкий облик негаданной женщины –  
Только взор, только странный упрек.

Небеса вы мои нестерпимые,  
Неземные мои голоса!  
Все поруганные, все любимые,  
Загляните вы в эти глаза!

По ольховой листве окровавленной  
Тихий шелест осенних теней.  
И алмазные оси оплавленные  
Всех сердец обращаются к ней.

Что ж вы имя земное – любимая –  
Дали ей, красоте неземной?..  
Ты – Стена моя Необоримая!..  
Вейтесь, плачьте пред этой стеной...

Станет сердце, страданием омытое,  
Адаманта прозрачнее там.  
Ты – Стена моя, сердцу открытая –  
Дверь в небесный, таинственный храм:

## 3.

Попрощаемся – в травах до пояса  
Темным взором своим обернись,  
Черным звоном серебряным голоса  
Прокатись в мою голую жизнь.

Обернулась – телеги пробрякали,  
То ль горшени посуду везут,  
То ли время срывается с якоря,  
Чтобы, вздыбившись, кончиться тут.

Как возница подпивший торопится  
И как трещины кринок поют,  
Как лошадка усталая гробится!..  
Эй, горшени, напрасен твой труд!

Эй, горшени, проспали мы ярмарку,  
Опоздав на полтысячи лет.  
Серебрясь колеею по заморозку,  
В никуда обрывается след.

И сентябрьскою смертною хмуростью  
Застилает лицо ее мар.  
И пылает раскольничьей мудростью  
Подола языкастый пожар.

Это пламя – во мне начинается.  
Подсади ты ее, довези  
Вон туда, где Россия кончается,  
Где колеса увязнут в грязи.

## 4.

Мне с каждым часом все страшнее  
На вас из глубины смотреть.  
В душе счастливой птицей реет  
Освобождающая смерть.

Как совлечется темной ризой  
Плоть, как из вечности зеркал  
Твой образ яркий бросит вызов –  
Пойму ль, кого я увидел?

## 5.

Встану утром с больной головой,  
 Нету силы в душе помолиться,  
 Шепчет голос привычный и злой:  
 -Лучше было б тебе застрелиться!..

Застрелиться? А где пистолет? –  
 Я спрошу и по улице слепо  
 Побреду. Тот же голос в ответ  
 Что-то грозное шепчет нелепо.

В странном блеске латунных берез,  
 В стертом свете осеннего неба  
 Тот же бледный ответ, тот же глупый вопрос,  
 Той же злой декорации небыль.

А за ней, за кулисами, в будке ума  
 Мне кошмарно суфлирует кто-то,  
 Чтобы люди – ходили, стояли – дома...  
 Ах, как смысла тонка позолота!

## 6.

Как хорошо вам в бедной глине  
 На старом кладбище лежать.  
 Не поведут вас ночью синей  
 К траншее длинной убивать.

Вас на березе не повесят,  
 Штыками не исколют грудь.  
 И лишь цветная осень грезит  
 О вас, земной свершивших путь.

И сердце видит отблеск рая  
 Здесь, где слонится липы лист,  
 Где, в алой бузине сгорая,  
 Алтарный рушится карниз.

## 7. АЛКОНОСТ

Даль – зашторена, жизнь – задержана  
 Темной ночью песенных кос:  
 Прилетела ко мне птица черная,  
 Птица черная, Алконост.

Тьма певучая плавает в комнатах,  
 Сквозь ресницы ее – рыжа,  
 Так мерцает охра иконная,  
 Сердце грешное сторожа.

И гляжу я в синие раковины  
 Отреченных ее глазниц.  
 Ее перья – купальские папоротники  
 Опьяняют дрожью зарниц.

Закатились слова во впадины  
 Между шепотов, между снов,  
 Меж левкашанными виноградинами  
 В темнокосую ночь веков.

Подари мне перо темноцветное,  
 Озари в моем сердце клад,  
 Отомкни мне песню не спетую  
 Ту, что очи твои сторожат.

Отомкни ее, птица черная,  
 Птица черная, Алконост!  
 Отняла мою жизнь и задержала  
 Темной ночью песенных кос.

## 8.

Гляжу на холм из дольней битвы,  
 Где вечно, в ветреной гульбе,  
 Березы, родины молитвы,  
 О чьей возносятся судьбе?

За их просветною оградой,  
Как с неба выпавший глагол,  
Собор, белеющий громадой,  
Востеплил легкий ореол...

Стрела лукавая вонзится,  
В крови во прах я упаду.  
Виденье это пусть приснится  
Мне перед гибелью в бреду.

И – с неба выпавшая книга –  
Как продолжение стиха,  
Душа постигнет радость мига,  
Ей прожитого без греха.

### 9. СВАДЬБА

В грязь тропинок, в серебряный сон,  
В первый утренник кладбища голого  
Вмерзла бурая охра икон –  
Моя жизнь, в лики листьев расколота.

Между липовых черных ветвей,  
Словно нимбы на голой иконе,  
Никнут гнезда коротких лучей  
В безысходном каком-то наклоне.

Наплывает туман на мостки,  
На твое подвенечное платье.  
Лед на сердце девичьей руки,  
Темноликой невесты объятья.

Сорок дней буду, сорок ночей  
Целовать тебя, милая, медленно.  
Что ж устам моим все холодней  
В этом сне охряном и серебряном?

### 10.

Померкнут лампы в коридорах,  
И с каждым мигом все темней.  
И тени выступят на шторах  
Полулюдей-полузверей.

И по линолеуму цокот  
То ли когтей, то ли копыт.  
И изо всех проемов окон  
Тьма замогильная валит.

Опали, заострились лица,  
И обличили все черты,  
Что это – злыдни и убийцы,  
А между ними – я и ты.

Они в притворном жирном свете  
Всплывает тяжело вокруг.  
И душу загоняет в сети  
Зловеще-сладостный испуг.

Давно знакомая картина,  
В неё живьем я заточен  
И в вещество наполовину,  
В мерцанье красок превращен.

Растиертый на камеди камень  
Мне сердце обручем сдавил –  
Где ласково светила память –  
Чужой, притворный свет застыл.

Твой лик победный, лик прекрасный,  
Спасая в смерть – твой темный лик –  
Моей души ли образ страстный? –  
К устам кощунственно приник.

**11.**

Здесь, где обломанная вечность  
Могильных, мраморных крестов,  
Снисходит в душу каждый вечер  
Твой тихий образа покров.

Сначала только свет туманный,  
Потом цветное волокно,  
И вот уж музыкую странной  
Всего меня заволочло.

И кроет душу лик знакомый,  
И топится душистый свет,  
Дробя по вечности изломам,  
Слова, каких на свете нет.

Ищу созвучья им, где глина  
Красна, как кровь. И где оград  
Серебряная паутина  
Раскинута до райских врат.

**12. В ГОСТИНИЦЕ**

*«Я у разрушенного склепа увидал кота  
с красными глазами, а ночью мне приснился  
сон про гостиницу».*

*Из разговора.*

Красный дом двухэтажный. Хозяйка  
Отворила приветливо дверь,  
Пропустила вперед и за мною  
Коридором старинным идет.

Покоробясь, отстали обои  
На стене деревянной, и кот  
В белом фартуке вышел, как дворник,  
И урчит у меня за спиной.

Да туда ли попал я? Хозяйка  
Улыбнулась: конечно, туда!  
Молодая, красивая, в красном...  
Что же страх меня смертный берет?

Это разве гостиница? – снова  
На глухом повороте спросил.  
-Да, гостиница. Вот он, ваш номер –  
Нежилой отворила чулан.

Что же я, уже все понимаю,  
Улыбаясь хозяйке, стою  
На пороге глухого чулана,  
Или смерть для меня не страшна?

Дыбом шерсть у кота на загривке,  
Так и ходит он весь ходуном,  
И когтями нацелился в шею.  
Что ж хозяйка с улыбкой молчит?

**13. ПЕРЕД ПРИЗРАКОМ РОССИИ**

На руку опершись щекою,  
Она заснула между нас.  
Мертвеет веко вырезное  
И впадины иконных глаз.

Мы подкрадемся ближе, сядем  
Вокруг столов в листах газет.  
И сердце спящей станет адом,  
В нем загорится черный свет.

И в глубине его, как завязь  
 Пустил блудящий огонек,  
 И вдруг стеклянный, задыхаясь,  
 Расцвел безжалостный цветок.

Он жжет и мучает лучами,  
 Ему в ответ – тоска и вой.  
 И мы ощеримся клыками  
 Пред ней – живую-неживой.

Подобье радуги небесной,  
 Оземленевшей в страшном сне.  
 Иль это образ муки крестной  
 Сокрыт для нас в упавшей тьме?..

Кто различит, как обозначен  
 России грех во тьме своей,  
 России лик – нездешним плачем  
 Молящейся за всех людей?

#### 14. СНЫ УБИЙЦЫ

Свет погасили и сидели,  
 И пустота росла внутри.  
 И на ветвях обледенели  
 Клочки багровые зари.

На небо вышел месяц ясный  
 И умер в высоте. И вот  
 Твой шепот смутный и прекрасный  
 Одел мне сердце в черный лед:

-Иди-иди, сейчас за угол  
 Свернешь – и там, из-за угла  
 Мое лицо в ночи, как уголь,  
 Сверкнет, сожжет тебя дотла!

Ты изнемог, прижался к срубам:  
 В окошке – свет, отец и мать:  
 За что они тебя не любят  
 И не хотят тебя признать?

В твоей груди темно и сухо.  
 Где сердце? Нечем вспоминать,  
 Как я открыла дверь на кухню,  
 Когда пришли вы убивать...

Вчера ты шел по коридору,  
 И снова я к тебе спиной  
 Стояла гордо в платье черном,  
 Уже без раны ножевой.

Трус русский красными руками  
 Глаз деревенских васильки  
 Зачем зажал ты, бывший камень,  
 Синевший в поле у Оки?

Ты плакал – в сердце не вливалась  
 Раскаяния благодать.  
 Бей, чтобы сталь в меня вонзалась,  
 Обламываясь по рукоять!

Гляди – уста мои из глины,  
 Смеется – каменный мой лик,  
 Там, у стены необоримой,  
 Руси погибнувшей двойник.

#### 15.

Скучает сердце, ищет двери,  
 Чтоб в запредельное взглянуть.  
 А, может, там прохожий мерит  
 До кладбища такой же путь?

И посеревшие березы  
Промозглым вечером стоят,  
И след смертельно скучной прозы –  
Еловый лапник в след замят.

Скучает сердце – да, такое,  
Давно знакомое и там –  
Петля и лезвие стальное,  
И жалкий погребальный хлам.

Скучает сердце. Голизною  
Декабрьской оттепели сжат,  
Иду-иду... И там, в такое ж –  
К нам, в запредельное, глядят.

## 16.

И вдруг в сердечном, злом тумане  
Проступит вечности окно,  
И луч родной за ним проглянет,  
Знакомый сердцу так давно.

Там твой пшеничный, желтый волос  
Разлил незаходимый свет –  
Звучащего покрова голос,  
Алмазный с вечностью завет.

Живым любовным покрывалом  
Окинула мне душу ты –  
Душа все образы впитала,  
Поющие ей с высоты.

И ты молись! И плат свой бросит  
Оземленевшим в страшных снах  
Желтоволодая, как осень,  
Благословенная в женах.

## 17. ЗА ФАНЕРНОЙ ДВЕРЬЮ

За фанерной дверью в плену у обшарпанного стола он сорок лет шелестел листьями, в свинцовые колонки загоняя тени слов. Капкан квадратный кабинета с одним окном в Божий мир. Сменялись на стене портреты правителей – но лица их значили одно. Толпы корпуса и петита ползли, как насекомые, будто к какой-то своей цели. На слабо пропечатанных клише мужские лица выходили ватными, а у женщин – стеклянный взгляд. Перст судьбы жалко длинной морщиной прорезал ему покорный лоб, и свет настольной лампы, замирая, прирачивал ко всему свой прозрачный смысл.

Поэтому по утрам, когда он приходил сюда, было одно странное мгновение, когда ему казалось, что он не узнаёт знакомых вещей, а на своё отражение в зеркале смотрел с таким отчуждением, словно это был плохой снимок в газете... Стол, продавленный диван, электрический притворный свет... Так и прожил, утонув в себе, в будничном бесплодном созрециании, ведь так таинственно и властно все будничное: и эта вешалка, и лицо новой гардеробщицы, даже камень в дорожной пыли...

И вот однажды за фанерной дверью  
возник тревожный говор,  
но, опередив всех,  
вошла женщина,  
в которую, как сначала ему помнилось,  
он когда-то в молодости был влюблен.  
Образ ее менялся, был текучим,  
лик в черных локонах  
приобретал вид аспидный и грозовой,  
словно изваянный из летней душной тучи;  
и ее образ, как гаснущее зеркало,  
вобрал его в себя,  
погасил – как гаснет  
пейзаж под напалзающей тучей.  
А вещи, точно ожили,  
выскочила их материя из грубых тел,  
шкаф – расплылся в какую-то зловещую морду.

Он не увидел, как вбежали корректоры  
и узнали, что он упал с продавленного дивана и умер.  
Сердце его, вспыхнув, треснуло, как орех,  
и распался его образ  
на тысячу отсloyков,  
завертелись они цветным коловоротом.  
Синяя жаркая волна... Рим, Вавилон, Египет.  
Все космоса круговращения,  
хранимые душой земли... все дальше  
душа земли, темноликая мать образов его зовет  
и манит развоплотиться,  
возвратиться в родную стихию,  
отражающую в своем зеркале  
бессмертную душу...  
Предел, которому у нас нет названия.  
Стена, откуда всего ближе  
и всего дальше до Бога.  
Тьма, где все становится плачем,  
а плач – становится силой.

## 19. ДЕВА-КНИГА

Вот образ Девы-Книги:  
Ее стан напоминает иконную лилию,  
А фиолетовый хлад платья,  
Покрытого пурпурным плащом –  
Финифть и киноварь времен.  
В плетенке мысленной заставки –  
Да! – ты мой темноокий сон,  
Дева-Книга!

## 20. НИКОЛИН ДЕНЬ

Холодной весной в Николин день  
Я грустно думал о тебе, Дева-Книга...  
И душа, словно из преисподней,  
Поднялась воскреснувшей розой.  
Обгоревшие култышки лепестков,  
А глубже, в корнях –  
Тьма, зола веков  
И жидкий свет из пещеры.  
Как мысль о смерти и о вере,  
В ней сидит монах над книгой,  
По смуглой странице  
Плывут кроваво-золотые слова:  
Ты проживешь пустые годы,  
Повесть твоей жизни –  
Это пирог из чертенытины  
Длиной в три версты.  
(Что-то огромное, чернее тьмы  
Торчит у входа в пещеру)  
Когда ты его доешь – умрешь,  
Треснет, как орех, твоя оболочка,  
И, вспыхнув, огненной станет совесть.

Монах читает,  
Цветные образы  
Подхватывают каруселью.  
Кем я только не был?  
На зеленом острове в океане  
Жил я среди полунагого, дикого народа  
И уже тосковал, что Москвы еще нету,  
Сколько тысячелетий мне ее дожидаться?



Был допотопным животным –  
 Надо мною утробно  
 Провисало пересиненное жаркое небо,  
 И теплые волны  
 Нежили мое, распластанное на песке тело.  
 Засыпал я древним растением,  
 И снова в жилы  
 Врывался гул человеческой крови –  
 Я становился славным полководцем,  
 Я был и в приземистом древнем Риме –  
 Прямые стены, башни, боги и речи...  
 Рим, думал я, это уже почти наше:  
 Как все здесь мне знакомо...  
 А где Москва?  
 Сколько столетий мне ее дожидаться?

Карусель образов остановилась.  
 Там у стены на пепле  
 Сидели и плакали какие-то люди.  
 Может, это и были сгоревшие души?  
 (И теперь их скорбь  
 Передать мне невозможно!)  
 Тогда и вспомнилась мне Богоматерь,  
 Только она умеет так плакать и молиться,  
 Отводя гибель от человеческого рода.

Потом схватилась серебрецом тьма,  
 Будто навели в одно место зеркальный зайчик –  
 Замерцало твое милое отраженье.  
 Я хотел подняться к тебе,  
 Но не смог и понял,  
 Что я тоже такое же отраженье,  
 Томящееся по Богородициному плату.

Но ты молись!  
 Быть может, и нам она его бросит –  
 И мы выйдем по нему сами к себе, как по дорожке.

...Выйдем ли? Уже десять лет  
 С той холодной весны,  
 С того Николиного дня пролетело.

## 21. СОН ВТОРОЙ

Лежат они в глине, а души  
 Проснулись: им кажутся тьмой  
 И войны кровавые наши,  
 И нашего счастья покой.

Далеко до светлого рая –  
 А тьма обступает кругом.  
 И вот, может быть, унывая,  
 Загрезят они о былом –  
 И сон их второй – молодая,  
 Ты в платье вишневом своем.

То кровь их сквозь тусклую глину  
 Бесплотному слуху поет:  
 И видится лик темнокудрый,  
 И манит во тьму, и зовет.

И жадно впиваючи смуглый,  
 Притворный, обманчивый свет,  
 Они подступают к пределу,  
 Названья которому нет.

Тогда сотрясают рыдания  
Живых непонятные сны –  
И мы, словно мертвые, плачем  
На пепле, во тьме, у стены.

## 22.

В иное время и страну иную  
Так, что представить землю не могу я,  
Где вечность мысленная истлевает, –  
Меня рука Господня погружает:  
И там, на пепле, у стены, размыты тьмою –  
Как замурованы – одной семьею  
Сидят и плачут мертвые о том,  
Что жизнь свою я прожил палачом.  
Стрелял, жег, мучил... Перебрал  
Я в памяти всю кровь, какую знал,  
Войн, революций жалких... Всей земной  
Истории ничтожен ход перед ценой  
Страдания, где за пределом рая –  
Иное время и страна иная...

Теплом и силою их плач дышал.  
Я всматриваться стал и вдруг узнал,  
Что старший – вокруг него, как сыновья,  
Они сидят – отец их – это я! –  
Тот, что не мучил, не стрелял – невинной  
Он был моей второю половиной  
И Господа свидетельством о том,  
Что быть и я могу не палачом.

1989-2000

## Из записок Горелова

*Хоть я и не буду писать во многих местах ясно,  
но ни за что не соглашусь толковать  
настоящего смысла некоторых случайных выражений,  
которые на пути моем встретятся, как необъяснимые  
метеоры моего блуждающего воображения.*  
А. Вельтман

## 1.

Так мне эта жизнь надоела – ну, хоть караул кричи или садись – в о л о с а на себе рвать начинай! За девяносто рублей в месяц, иногда выходило чуть побольше, должен я каждый день полседьмого вставать, пять минут есть, пять минут одеваться и пять собираться, и бежать к трамваю, потом к автобусу, а потом – от и до – заниматься ненужной мне работой, говорить с ненужными мне людьми.

Придешь домой, то да се, туда посунешься да сюда, сделаешь что по хозяйству, а уж нет времени – надо спать. Тут и был предел сладкий и нервный – перед тем, как на кровать лечь. Думалось, что прошедший день – тихий кошмар, а вот только теперь и начнется что-то настоящее, нужное: затепливалась совесть: надо жить не так!

А утром – снова посадка в автобус.

– Ах, ты, собака! – кричит кондукторша на какую-то женщину. Лезут люди, глаза вылупили, друг друга открыто толкают, бывали минуты – казалось мне: еще какую-то ниточку, которой тайное в этих людях, самое злое связано – оборви, и вцепятся безжалостными пальцами в горло друг другу все из-за того же места в автобусе.

И я отходил в сторону, переживал.

Про многое я уже не мог сказать – позавчера ли оно было или месяц назад – дни идут одинаковые, а, точнее говоря, все один хмурый, осенний, с низким небом денек стоит, и только мигает на улице под тем небом со столба огонек светофора: темный свет – надо

спать, белый свет – надо вставать и к автобусу бежать, и делать то, что делать не хочется.

И вот, думаю я, уже, наверно, полжизни прошло, так и жизнь проживешь, со смертного одра глянешь – а перед тобой... Эх, лучше бы и не жить такую жизнь. А проспав ее всю в земляном состоянии, комом глины, или пьяницей под забором провалиться, и, чтоб и весел всегда, и нос в табаке, и глаза с подмигом, всегда на народе, всегда крепко спаян с такими же, как ты, никчемными, заугольными людьми.

Все больше меня начинала томить забота громко ударить по людским сердцам, крикнуть что-нибудь дерзкое. Я иногда не без тревоги догадывался, что многие из окружающих людей хорошо понимают неустойчивость смутного своего быта, но нарочно, улыбочиво хитря, маскируют его.

А как крикнуть? Что разбить? Это ведь дело такое... Тут каждый понимает, что ждет его... Да-а-а...

Правда, по мелочам я уже пробовал. Говорил с раздражением даже заведующему нашему, что стремления окружающего мира нереальны, смешны, нелепы... А с Кашиным в выходной день до ночного часа обсуждал вопрос, что мир наш – всего как бы опухоль на мире настоящем, невидимом; или неудачный, смятый рукой горшечника глиняный сосуд... Впереди – новая стадия работы, а пока – только черновик...

Но и эта болтовня уже поднадоедала. Все одно и то же, все одно и то же... Все и раздражение-то от однообразия! А в сущности, ведь я не злой человек, *Виталий Семенович Горелов*. Просто я устал, изнервничался. Просто – одними книжками сыт не будешь. Не только надоедают – лихорадят ум, но и сердце кажущимся решением вечных вопросов – иссасывают.

А год клонится к отпуску, нервы – все хуже. И, как часто бывает при таких обстоятельствах, начинает вымерцывать из души какая-нибудь забытая, униженная мысль... И смешной, и капризной считал ее я, хотя, надо сказать, что уже несколько лет она робко беспокоила мое воображение – на Север съездить, где вырос я на золотом приiske в пятидесятые годы.

И вот однажды наступило то решительное утро выходного дня, когда я, объятый телесным сном, внутренне как бы не спал, был чист,

бодр, и что-то там, в недостижимой глубине души моей вдруг совершилось хорошее.

Я начинаю просыпаться и одновременно – хватать из золотящейся бездны хорошего – два образа, уже заметавшиеся, чтобы скрыться...

А это отец и мать мои – старики. Рядышком сидят на залавке у русской печки – откуда она, ведь я на Севере вырос? Лица теплые, коричневые от деревенского загара, ласково сосредоточенные.

Ласковая сосредоточенность передается и мне, и в душе становится просторно. В просторности этой рождается мысль о родителях: вот, им уже за восемьдесят, старикам – как хорошо, что они все живы и здоровы!

И я, все еще в полусне, все еще грезя, размышляю о двух мирах: сравниваю их, дивлюсь на них, пытаюсь объяснить и так далее.

Философия двух миров, или двух цветов сложилась у меня, скорее всего, под влиянием Кашинина. Много куря большими судорожными затяжками, Кашинин говорил, что у определенного сорта людей нет в жизни ничего страшного, прикровенного: ни обманных жребиев, именуемых судьбами, ни чехарды случайного. Мир для них только и существует таким – из автомобилей, серых жилых сараев, и это есть ад. Они ничего цветного, духовного, не знают. И поэтому не видят истинных цветов мира – золотого и серого! «Я даже сел писать про это, – пожаловался Кашинин, – а Нина ходит и не дает: не пиши, не пиши!»... В однокомнатной квартире он жил с женой и маленькой падчерицей. Все было заставлено вещами, посуда в кухне стояла на полу, письменного стола не было. ...

Такая и дакая в ответ Кашинину, я про себя рассуждал: а почему, действительно, иногда вдруг обоймет твою душу что-то теплое, ласковое, из цвета, ну хоть золотисто-зеленого – нежно маревеет его сияние. И вся душа – в нем. И ты знаешь, что это – лес... Но лес какой-то незнакомый. Нет, лучше, чем обычный лес...

Но откуда он?

Родные лица стариков тоже из того, теплого золотого мира.

Вот как хорошо, им уже за восемьдесят, а они, оказывается, все еще живут! – повторяю я, готовясь вынырнуть из внутреннего сияния, проснуться.

Да ведь уж и проснулся! И тут же узнал, что нет уже отца в живых. И не раз уж такое бывало, когда за ночь я забывал о его смерти и просыпался так, как просыпался тогда, когда отец был жив...

Но лицо-то осталось! И я еще долго срачивал этот образ с другими образами из золотого мира. И думал: вот дурачок, зачем я все это «миром» называю? Это все грезы, мечты, дымки малые... Вот как повернусь к жизни – все они и отлетят...

Однако, знал я, что не от «жизни», то есть, например, от гневающегося заведующего, или от «ненужной работы» тускнеет созерцание золотого мира. Нет, он от того начисто исчезает, что Кашинин называет вторым миром – серым цветом.

Вдруг войдешь ты во двор, а на выбитом бетоне подъезда приклонена к стене красная крышка казенного гроба. Хлоп – бесцветное, серое, какая-то мысленная паутина облепляет тебя. Ноги пристают к асфальту – зачем, куда ты идешь? Вроде как кто-то твоими же глазами взял со стороны посмотрел на тебя и увидел... Нет, ничего не увидел...

Или вот еще – на грязном бетоне, на окурках подъезда – обезображенный труп.

– И все лицо ей растворили! – говорит с протяжным выражением голос со зрительной... противоположной стороны... Кто-то сказал, а голос вроде ничей, никому не принадлежащий, просто г о л о с.

Восприятие такое, что все в этом охвате обыденности из голых углов и ломанных линий, вместо чувства – безглазая стихия... Вместо форм – что-то серое, сыпучее, засасывающее...

Таким был серый мир.

И однажды я сказал Кашину: не знаю я, да и знать не хочу, существует ли действительно мир золотой и мир серый. Все это чепуха... Но все равно, веря или не веря, решил я опираться о первый, золотой мир, и, заряжаясь его энергией, жить. И поэтому сегодня я окончательно решил – ехать! Там, на Севере, я провел свое детство, и оно все теперь казалось мне певучим, каким-то сказочным деревом, вкорененным в объем золотого мира; там, в чудной природе различия и цветную тень этого дерева – тень своего детства!

Решено! Еду! – Нагоняя на себя твердости, повторял я, хотя мне не только ехать на Север, а даже встать с дивана не хотелось.

Поднялся. Постель все-таки за собой убрать хотения не хватило. Так же и на столе – поел, а посуду не вымыл. Будто бы потому, что заторопился к Кашину. Надо и его уговорить на поездку...

2.

Отец у Кашина родился в Сибири. Там его в 1937 году посадили как японского шпиона, когда ему было восемнадцать лет, и он работал помощником машиниста на паровозе. Протокола на себя он не подписал, ему дали десять лет. В начале срока ночью его хотели ограбить блатные, снять валенки, телогрейку. Он отбил: двое убежали, а третьего, сбросив с нар, прижал к топившейся, раскаленной докрасна печке-временке из железной бочки, и держал, пока тот не перестал кричать. Утром пришел дневальный с санитарями, молча убрали труп вора. Отца больше не трогали... В лагере он строил железную дорогу на Воркуту.

Кашинин слушает меня, весело, хитро помаргивая.

В комнатенке обшелушившиеся, списанные из музея иконы, гипсовые шары и пирамиды, картины на фанерках из-под почтовых отправок, на угреватых, негрунтованных картонках, на хороших холстах: а у балконной двери – деревянный безголовый болван, вроде и мужской, вроде и женский. К счастью, я понимаю в живописи не больше этого произведения прикладного искусства, а из художников лучше всех знаю одного художника Черткова, а то бы, наверняка, выказывая свой вкус, стал бы поучать или критиковать художника Кашина, к тому же автора и моих нескольких портретов. И я уважительно поглядываю на самого себя, масляно отблескивающего на холсте, худощавого, без очков, курносого, но с артистически представленными к безвольному подбородку пальцами. Сижу, читаю, отплачивая Кашину за мои живописные портреты – портретом его, словесным. Это не дневник, не повесть, это, как мы называем – м и р о ч у в с т в и е. Сначала он меня нарисует, а потом, в ответ, я его опишу...

– Глупо так зачем шучу? Что за дело вам – хочу! – обрываю я в рифму затянувшееся чтение...

И Кашинин, напустив на себя нарочито дельное выражение, почти то самое, о котором поет частушка: «сидит милый на крыльце,

выражает на лице» – и, важно захватывая в кулак взлохмаченные на макушке волосы, и так же ловко, на лету перехватывая интонацию этих стихов, удлиняет их, пародируя меня:

– И стал Кашинин волоса на себе драть, там-та-та-там-та-тата! – заколыхавшись от смеха – будто печать ко всему, что было прочитано мной – приставил.

– Как – ничего? – неуверенно посмеиваясь в ответ, говорю я.

– Сильно... мощь! – уверяет Кашинин с двусмысленно серьезным выражением.

– Да ну?! – и мы оба начинаем домашними, помеченными, «вракорячку», «врассашенку» словечками наращивать рассказ о себе, бе-долагах.

– Слова на то и даны, – говорю я, – дабы мы один другому взаимно сердца своего открывали советы, произнося их из самых сокровенностей сердечных, как бы из неких хранилищ!

Да и не только из-за домашних, уютных, смешливых слов хорошо мне толковать с Кашининым. Я искренне завидую его характеру. Человек он незлобивый, обладает даром неназойливого смеха, происшествия, которые томят меня, он выставляет будто бы на сцену кукольного театра, и для меня они делаются такими, будто на них сквозь перевернутый бинокль глядишь. И мы смотрим, как и мы сами, и недруги наши срыскиваются на скоп и заговор в этой стеклянной условной жизненной дали; срыскиваются – рассказываются, тарантят ножками, сучат ручками. И не случайно, наверно, Кашинин последнее время работал постановщиком самодеятельного театра дворца культуры – только улицу перейди, и уже на работе. Он и к своей личной жизни подходит, как постановщик и декоратор. Сам играет на сцене, пишет, если захочет, лучше меня; льет из гипса, сечет из камня, режет из пенопласта и рисует акварелью и маслом. И все это для себя, для своего досуга, а досуг у него – вся его жизнь, и, хотя он не переступил своего шуточного девиза: «не отсиживать от и до и не пить!» – но сумел совместить его даже с суетливой выгодой. Вот за деревянный стан ему сто пятьдесят рублей в швейной мастерской дадут. За гипсовые пирамиды и цилиндры – сто. А за декорации – и первый, и второй заработок вместе сложи.

– А ведь я к тебе по делу пришел! – говорю я, переставая носиться языком за искрящимися, вспыхивающими многими смыслами сразу, смешливыми «нашими» словечками.

– Ну, давай, говори! – и сказанное им, смеясь, помаргивает – хитро, знающе, так же, как и он сам.

– Seriously я про Север-то написал, – говорю я, переводя взгляд на деревянный стан. – Поедем на Север вместе, что-то долго мы с тобой в этом городе засиделись...

Кашинин смотрит на меня с прежней смешливой обличительностью:

– На Север тебе захотелось? Посидеть? – говорит.

– Ты не веришь? – говорю я. – А мне уж действительно лет десять хочется съездить на Север, ведь там прошло мое детство!

– И уже вымерцывала, выпестывалась в нем мысль! – четко, как прутики переламывая – переиначивает на свой лад мои слова Кашинин – все не может уразуметь, что я говорю серьезно.

– Давай лучше я тебе ответ напишу? Хочешь, про Бумажникова, которого ты на станции встретил?.. Я ведь, брат, тоже в лагерных местах, в Княж-Погосте вырос...

Последние два слова, наконец-то, он говорит с полной серьезностью, но язык мой весь почему-то затопило внутренним бессмысленным смехом; и желание мое двоятся: да уж и зачем мне оно, мое детство? Однако, зацепившись за его серьезность, я говорю наугад:

– Твоим картинам, знаешь, как раз нетронутый, бездонный простоты северной природы не хватает... Да и подзаработать можно! Жена отпустит, – еще больше наугад, даже неуверенно примолвил я.

И – попал. И уже через пятнадцать минут в уютном, домашнем смехе отдохавший Кашинин, стоит, насутулившись, и, жадно куря большими затяжками – а я прямо на своей рукописи, прилипающей к сладкой, в чайных пятнах клеенке, вывожу извилистый наш путь – путь уперся во Владивосток. А во Владивостоке, оказывается, живет родной дядя Кашинина, моряк.

– Может, лучше к дяде на судно и махнем – рыбу ловить все надежнее, чем золото мыть? – говорит Кашинин.

– На судно? – удивляюсь я и тоже встаю, сам еще не зная, что же я ему отвечу.

Кашинин служил на флоте, в Совгавани, сигнальщиком береговой охраны: вид мужественный, а внутри мягок, неуверен в себе. Жаловался, как он ходил устраиваться на постоянную работу в проектно-технологическое бюро. Предложил наш знакомый, Гоша, ему в отдел второй сотрудник был нужен.

– Как только вошел в прокуренный коридор, увидел на стенках эти плакаты, этот «уголок атеиста»: черный поп-паук на фоне храма, раскинувшего паутину... Даже к начальнику не зашел... Нет, я не смогу... – Он печально опустил глаза, лоб его напрягся длинными нитями продольных морщин.

Зря, подумал я. Я бы так согласился за такую зарплату...

Потом узнали, что и Гоша там надолго не задержался – ушел с партийным выговором на спасательную станцию в водолазы.

3.

В 195.. году, когда семья наша ехала в отпуск на материк, на сибирской станции в минуту отбытия я так упорно смотрел сквозь мутное стекло на десятиминутную жизнь вокзала, что и второе мутное стекло стоящего напротив вагона – преодолел и у столика увидел Бумажникова!.. И едва я узнал его, сразу же дрогнули колеса, толкнулись вагоны и потащили нас навсегда со станции, название которой я забыл. И так близко проплыл от меня его облик, что еще какое-то неуловимое движение – и, казалось, он вскинется с улыбкой. Я хорошо рассмотрел добродушное, ясное лицо его, волосы – темным ершиком, плотные небольшие усы, не было только той, знакомой его улыбки, то ли неуверенной, то ли кручиноватой, а кружка с крепким чаем, «чифиром», по-прежнему стояла на столе, и книжка рядом была раскрыта. Бумажников не сидел в лагере. Он завербовался на Колыму из Москвы. Потому что жена ему изменила – с другом. Застал их на месте – не знал, куда деться...

– Бумажников! Бумажников! – повторял я. И отец, и мать тоже обрадовались. Уехал Бумажников с нашего прииска почти год назад на материк, но вот опять, видимо, что-то не заладилось у него там, и он опять – в поезде. И случайность той законной встречи на станции загустела для меня каким-то смыслом навсегда.

Сам я никогда не мог представить Бумажникова в городской квартире на диване – мне почему-то воображалось, что все на материке живут именно так. Кто будет терпеть его трубку? Или закопченную кружку с чифиром? И не велик инвентарь, да не каждая хозяйка его вынесет.

– Ну и пагубный, ну и алошный, – нет-нет, да и скажет как-нибудь заглазно мой отец. – Никогда кружку с чифиром со стола не убирает. Сидит, гужуется...

– А чего же, – подхватит мать, – в двух институтах учился, и ни одного не кончил!

– Да, дай Бог не болеть!.. – подбавит еще отец незлобиво. – Чего же ему теперь не гужеваться? – и уже непонятно, то ли корит он Бумажникова, то ли удивляется на него, то ли и сам раздумывает, как хорошо иногда посидеть да погужеваться. Незлобиво, потому что никакой потруды нам от этого квартиранта не было. И мне придумывалось, что за своими укорами родители уже видят его кручиноватую улыбку и сознают, что все, чем они корят Бумажникова – наветное.

Для Бумажникова главной меркой в любом споре-разговоре была высшая математика:

– Ты высшей математики не знаешь! Ты высшей математики не знаешь! – и частил, частил, наступая, как бегун, ладонями перед грудью. Да тут же, спохватившись, хватал книгу и, как зеркало, подставлял ее к самому лицу Леши-морячка. И всегда взгляд у Леши-морячка от той книги делался тупоконечным. Вот из-за этой высшей математики что-то у них там, в бараке, и получилось, после чего Бумажников и попросился к нам на жительство.

– Чего ты все споришь, Витя? Не спорь, – утешал его мой отец.

– Да чего мне с ним спорить? Он же высшей математики не знает, а суется! – по-детски заводился Бумажников, закуривая трубку и плотно присаживаясь к столу, где уже парила на электроплитке шапкой ифелей кружка с чифиром-вторяком.

Виктора Сергеевича улыбка, наверно, потому так покоряла меня, что была похожа по внутреннему чувству, за ней скрывающемуся, на мою. Гляну в глаза ему и, прочитав там: да, это такая же, как у тебя, улыбка – засмеюсь, рывком бросаясь на колени к Бумажникову:

– Дядя Витя, дядя Витя! – А пепел так и летит, так и валится из трубки.

И от внутреннего согласия и лада мне становится еще веселее, еще счастливее, и уже кажется, что весь, весь Бумажников, а не одни глаза – соулыбаются со мной: и эти усы, такие плотные и блестящие, как на портрете Сталина, и волосы густым ершиком торчат лукаво; и китель полувоенного покроя кажется мне не настоящим, а кителем из игры в войну, которая каждый день идет за углом барака. Даже гвалт, спор в той игре – такие же, бумажниковские. Одного лишь у нас нет – высшей математики. И я потихоньку сползаю с колен дяди Вити, с белых, обшитых кожей бурок, подхожу к раскрытой на табуретке книге. И хотя читать я еще не умею, но, зная, что все, что понимает Бумажников, и мне тоже доступно – беру книгу. Черные, пыльные корки. Тяжелая, как кирпич. И, даже не разогнув ее, я чувствую, какая она скучная: как ночь, о которой я всегда думаю, что она приходит зря, потому что ночью надо спать, а не играть...

Неужели это и есть высшая математика?

И неужели Бумажникову она нравится?

И подбегаю к целой кладке таких же красных и черных книг. (Потом я увидел эти тома Ленина и Сталина в библиотеке). И их прочитываю чутьем так же, как и первую. И груда мне кажется каким-то скучным, ненужным приделом к дяде Вите Бумажникову. И я настороженно, но и просяще, с надеждой – подбегаю к нему. Это и есть высшая математика? И тут впервые чувствую, что глаза мои не понимают его глаз...

4.

Отца моего посадили по пятьдесят восьмой статье за то, что он якобы ругал нецензурными словами выдающихся деятелей коммунистической партии и советского государства. На самом деле, «ни за что», как говорила мать. С Колымы, когда он освободился в войну, его домой непустили. Дом наш, срубленный отцом, стоял на самом краю прииска, у болота. Отворишь дверь и ступишь на земляной пол т а м б у р а; бревно голое – порог, и снова – дверь. За этой, второй дверью, уже то, что называется на материке сенями. А тамбур только для защиты пригорожен, чтобы мороз в нем оседал.

В коридоре на метр от пола – настил, и на нем во всю стену и до потолка – клетка: прямо на полу куриц держать холодно, лапы отморожат.

А из коридора последняя дверь – в кухню. Зимой была она всегда тряпками по щелям до верхнего косяка попрытыкана. Все равно до белого инея промерзала за ночь.

Пол из хороших досок, но некрашенный. Стол в кухне самодельный, из аммонитных ящиков, если поднять клеенку, то читаешь красные буквы ВВ (взрывчатое вещество) и ОСТОРОЖНО! В кухне печка с плитой, с теплыми всегда кирпичами, на которых всегда стояла кружка сладкого чая – для меня.

Во второй комнате – кровати, и на стене висел огромный черный чемодан.

Всегда, прежде чем лечь в постель, на чемодан помотришь. Выключат свет – а он, огромный, черный, непонятно для чего все в глазах стоит.

И вот начинает раскачиваться на гвозде – или это стучит кровь в висках?

Страшный, ненужный, огромный черный чемодан – зачем он в доме?

Я с головой закрываюсь одеялом и лежу, закаменев от детского страха. Пока еще боюсь одного чемодана – это полстраха.

Но вдруг забрезжил передо мной призрак всего нашего прииска: котел долины заполнен темным ко дну, сереющим к небу составом, и в этом составе едва различима сотня домишек на каменном взгорбке; с одной стороны река, если лето – шумит недовольно, с другой – болото. И за болотом, на галечной чистине – грядки с тычками, на тычках – фанерные бирочки. Кладбище заключенных, умерших в войну: кое-как грунтом и мхом привалены.

За сопками – тайга, а за тайгой – снова сопки. Страшно одинок и мал прииск. А я ночью – самый одинокий, мне всех страшнее: настолько одинокий, что меня, может, и нет совсем – весь утонул в страхе. Стал чем-то случайным, что-то переменится в порядке природы, и – сорви одеяло – под тобой холодные камни... Ты – на кладбище!

Нет, уж лучше не срывать, а лежать, терпеть... Корить себя: зачем днем, когда грибы собирал, опять зашел на кладбище? И закаиваешься больше не заглядывать на галечную чистину. Но, засыпая, сомневаешься, что наверняка снова зайдешь. Ведь будет день – большое жаркое солнце слепо глядит в долину, дальние сопки синие с белы-

ми от снегов пиками; с другой стороны, за рекой, жирно-зеленые, пятнистые от мхов, стланика и кустов смородины. Ровный, устойчивый шум реки с протоками не достигает до их лысых макушек, а по подошвам, понизу, стоит он тут вечно. Большой, но слуху не надоедающий, не городской, нет, им можно даже заслушаться у костерка на рыбалке, что-то в нем найти, перелить в какое-то чувство.

Всегда в природе, человеком еще не обжитой или, как говорят, не покоренной, больше человеческого, родного. Сквозит оно и в шуме реки, и в наивно яркой расцветке сопков, и много по-девичьи чистого в мелком, белом песке на островах, в топком ивняке. Здесь и тополь клейче и душистее; ручеек, ногой не переступленный и куда ему надо бегущий – будто это мальчик-с-пальчик куда-то пробирается.

Еще не применили к своим потребностям и сопки, и реку – не сделали вялыми, унылыми. Лиственничной реднине не придали вид парка или огорода, как и всякому чуду, которое человек не может целиком заглотить, а отдирает самое жирное. Что-то от застиранных, вывешенных сушиться простыней в таких небесах, и дерева – как полиэтиленовые. И земля всегда грязная, некрасивая, как нищес, в стружьях тело.

А там земля была еще чистой. Сверху радостно, молодцевато забросана обкатанными лощеными кругляшами валунов. Такие места словно хранят и радость, и силу создавшего их. Идешь по гальке – она гремит на весь берег протоки, словно каждая серая или синяя в слюдяных накрапах пластина радуется, что по ней идут.

За галькой, перед чащей – полоса песка: кварцевый, белый – волной накатывает от него упругое, сильное тепло. И на песке, и на каменной гремучей полоске берега – серебряные чурки, болванки, скруты, сrostыши – из многих тяжести вытянуты, проволоки ветвистые. Тюкнешь носком сапога в такую чурку – принесенная половодьем, вымоченная, выкаленная морозом и солнцем древесина лиственницы, она – лучшие дрова для рыбацкого костерка.

Там, где уже нет гальки и песка, топит ногу по щиколотку вычурный мох-ягель, известково-белый, хрусткий и напоминающий своими сплетениями олени рога – не зря его так олени любят. Сдерешь мох – кайли грунт: вскается в щеки черный лед вечной мерзлоты.

За рекой весь распадок покрыт толщей перебуторенного, перемешанного с мертвым железом и гниющей древесиной грунта,

поднятого сюда из глубины для добычи золота. Распадок считается выработанным, но вот ручеек, бегущий к реке по распадку, и вот камешек в ручейке козырьком, а на нем, синем, плотные и желтые, как тыквенные семечки, пластинки. Сквозь срыв воды они несильно играют на солнце, бери – золото!

Отсюда через реку хорошо видать прииск и всю долину с бредущими через нее бревенчатыми крестами – опорами электролинии. Глядишь, и вспоминаются слова прозрачные, как вода из верховий, с сопков: Золотой Ключ, Вороновка, Катюша – и распознается в них золото иное, словесное, привезенное сюда теми, лежащими в мерзлоте мужиками, из неведомой для меня России...

Да, теперь мне все чаще стало думать, что в детстве у меня не было родины. И висел над моей кроватью на железном костыле, вбитом в стену, огромный черный чемодан. Чемодан этот, по моему детскому догаду, было поднять свыше сил одному человеку, и я не мог понять, как это моя мать добралась с ним к отцу, на Колыму. Какой же странной должна быть та земля, где люди ходят с такими чемоданами? Может, поэтому я и боялся его, поэтому он и был таинственным образом связан со страхами, налетающими по ночам из сказок об оживающих мертвецах?

Я упросил родителей показать, что в этом чемодане. И еще загадочнее он для меня стал, когда оказался внутри пустым – поразил голый, чистой фанерой нутра.

5.

На Север мы, конечно, с Кашиным не поехали. Может, от того, что в самый разгар приготовления к поездке, вдруг начал сочинять мой друг, отступаясь от задуманного:

– Приедем, а там все не так, как ты рассказываешь. Ни синих галечных отвалов, ни малахитового стланика на сопках. А когда будем ехать, на той же самой станции, как и двадцать лет назад, встретим Бумажникова. Все эти двадцать лет он так и разъезжает в поезде от Москвы до Владивостока...

И отпуск мой прошел, и еще месяц, два, три – какое это имеет значение? И опять поздним вечером один сидел я в неприбранной, тесной комнатенке, а в душе моей «лежал» грязный, липкий, точно



изгнивший снег города. Я курил, пил чай, и лихорадочно, как редкие праздничные ракеты за новогодним окном, унылые от своей одинокости, мелькали, пречеркивая тоску мою, мысленные попытки объяснить то, что я уже столько лет называл своей жизнью.

– Какая же наша жизнь? – тупо, уже несколько рисуясь привычной фразой, не раз до этого спрашивал я у Кашинина. У того тоже был такой готовый ответ-восклицание. Но однажды, еще летом, когда шли в магазин, он сунул рукой в бесцветное небо, и глаза его сделались пристально грустными:

– Вон, видишь, как небо выцвело?

Я взял глазом чуть повыше плоской крыши девятиэтажного дома и сам удивился – немощному, больному, точно выгубленному копотью цвету неба.

– Вон, и дома такие же серые, как небо, – продолжал Кашинин, – когда они совсем выцветут, тогда и наступит коммунизм... – И он замолчал грустно и покорно.

«Жизни-то тогда не станет», – оборвались в душе, говоренные моей матерью под несчастливый час слова. Во вздохе их интонации было какое-то объяснение, хотя за словами ничего не стояло, не было ни образа, ни сияния. Но я с тех пор стал часто повторять их, впрочем, иногда улыбаясь даже хитровато.

«Жизни не стало», – сказал я сам себе и сегодня, в новогоднюю ночь, когда все где-то веселились, пили вино. И лег спать, но тут же оторвал голову от подушки, тоскливо вглядываясь в висевшие в комнате ключья тьмы и приглядываясь к цветному словесному семени, заматавшемуся вдруг в душе. Это – из древних российских стихотворений, собранных известным казаком... Жил-был дурень... Добрые люди его учили, как надо жить, а он все делал наоборот. Навстречу похороны, а он стал весело кричать: таскать вам не вытаскать! Поколотила его родня покойника – едва ноги унес. Пошел в лес, видит – медведь за сосной, кочку роет. Вместо того, чтобы бежать, дурень полез к медведю обниматься. И его медведь прирвал, приломал всего. И как странно, загадочно и жутко кончалась побасенка про этого дурня: набросились на него в подвале бесы: лапы, как грабли, усы, как косы – и задрали насмерть! Откуда вдруг в скоморошьей потешке взялись эти бесы-убийцы?..

Я уныло, но с сильно забившимся сердцем отрываю глаза от комьев темноты, вжимаюсь лицом в подушку и еще глубже вслушиваюсь в свои непонятные, хотя давно привычные мысли... Зачем вспомнилась мне эта побасенка про дурня и какая связь меж ней и тем, что «жизни не стало»? Скучно, бегло просмотрел я все последние годы. Когда вспоминаешь что-нибудь хорошее, оно становится еще лучше, а плохое все хуже и хуже становится в памяти. И тут на меня повеяло такой ледяной, но и опять – такой знакомой тоской, потому что я увидел то, что видел раз в год в конце декабря и старался скорее забыть. Я увидел самого себя со спины у черного, в зыбком свете окна: стою и думаю то же, что думается мне сейчас, уткнувшемуся в подушку.

«Мне только кажется, что я связываю мысли, делаю выводы, а, на самом деле, я будто не живу, и вечно стою у окна, и думаю одно и то же, как с одним и тем же выражением смотрит какой-нибудь портрет в зале. Как всегда одно и то же говорит на такой-то странице «Войны и мира» какой-нибудь герой Толстого. Может, это из-за моей музейной работы? Из-за того, что я начинил свою душу книжным миром, больше говорю с мертвыми, чем с живыми? А у мертвого – одно и то же, ему изменить уже ничего нельзя... Лучше таскать кирпичи, – упрекал себя я, – делать самую пустяковую работу – это больше похоже на жизнь!»

И я заснул, и на душу набросились сны-обманы, я недоверчиво участвовал в них и, утомленный их многоликим мороком, более других поддался только последнему – перед самым утром. Тут я стоял, как будто в заброшенном храме, в круге смуглого света на полу. Вокруг бархатная теплая тьма. В сером клетчатом костюме чернявый человек, толстый, но быстрый, с нагло-смешливыми щелками глаз на жирном лице бойко объяснял мне мою жизнь: «Ты хочешь поставить трагедию?» И эту трагедию предлагал здесь же, в храме, поставить: «Без меня у тебя ничего не выйдет!» На мои недоверчивые вопросы постановщик расплывался во всезнающей улыбке и суетился, и все разъяснял, как какой-нибудь экскурсовод, и показывал.

Развороченный алтарь завален свечами, свистками, призрачного вещества. Понизу, по земляному полу бугрятся, как канифоль, комковато топятся паром цвета ледяные, коричневые, и в них, как сваи, большие свечи стоят, теряются во тьме, и в некоторых обозна-

чилились застыло, как в янтаре, спящие человеческие образы. Будто в мавзолее. А под куполом – гнездо точно раскаленных лучей, как из изрубленной радуги: зеленый, и рубиновый, и золотистый – возвышенный. Эти лучи надо направлять на свечи с заключенными в них образами, и они станут наливаться телесным светом и жить. «Чем больше золотистого света, тем выше герой... давай!» – командует постановщик и, как фокусник, выкидывает руку вверх – и послушно из гнезда стал спускаться вниз с трансформаторным зудением брус золотистого света. Качнулся, как бревно, и почти уперся в ближний восковой комель – и в нем затмился как бы спящий человек в телогрейке. Я узнал своего умершего отца. «Вот так, давай, начинай!» – уверял, довольно посмеиваясь, постановщик. А я, натужно усмехаясь, делал вид, что соглашаюсь, хотя внутренне не верил ни одному его слову. И все вспоминал: «Почему постановщик так знаком, где же я его видел?» Но память подсовывала сразу же многих, похожих людей. Я начинал уже поддаваться соблазну: а вдруг, действительно, получится трагедия? Но, если она получится, то только с помощью его – он уже готовое и самое живое лицо трагедии.

– А как ваша фамилия? – спрашиваю я.

– Давай, давай! – кричит постановщик. А сам бочком-бочком – норовит в темноту нырнуть. Но с явной неохотой, со скрюченной улыбкой, уныривая во тьму, все-таки называет свою фамилию, пыхнущую зеленым светом. Она – нерусская. И я остаюсь один в заброшенном храме...

А утром мне становится даже стыдно: научный сотрудник, и так опростоволосился – это же фамилия известного историка и литературоведа! Но к этой хрестоматийной фамилии так не идут самоуверенные, жуликоватые глазки и толстые щеки самозванца. Я обиделся на сон. Забежал к Кашинину, хотел и ему пожаловаться. Уже и говорить начал, да поспешно увел разговор в сторону. Кашинин недавно на новую работу перешел – художником-постановщиком в театр нефтеперерабатывающего завода. А ну как подумается ему, что сон – с намеком? Давно уже я нахожу в снах что-то грубо обманное, насмешливое, точно вырвали у тебя же из души свое, плохое, и подсунули за чужое, невиданное. Даже и брусья цветные во сне были какими-то насильственно яркими, а на самом деле – тоже холодны-

ми и точно с осадком, и сияние их – ноющим, как зубная боль. Издалека же, видимо, привез их постановщик в своем чемодане – испортились в дороге... Эх, ты, рабское подобие дневной фантазии!

Сажусь за свой рабочий стол, открываю «Опыты» забытого поэта, изданные ровно 143 года назад. Глянул на гравюру – и поэт, хоть и заметно курносый, и кудрявый, но – показался мне чем-то похожим на постановщика.

### Голос

Закрой глаза, что пред тобой?

### Поэт

Со всех сторон седая мгла,

Толпа нестройных привидений... –

начал читать я и тут же забыл про свой сон. Но вышел через месяц из парикмахерской и только стал взлезать на заледенелый, грязный снежный отвал между тротуаром и улицей – встал, как обаянный: по ту сторону – хитроватое знакомое лицо, синеватые тени в подглазьях... *Он!*

Но человек в черном полушубке взобрался на горб отвала, снял перчатку и протянул руку здороваться. И оказался приятелем-журналистом Морозовым, с которым я, правда, уже два года, как не виделся.

С того дня так сильно похожих на самозванца людей мне больше не встречалось, зато замелькала въевшаяся в память чужестранная фамилия. То в петите выходных данных солидного научного издания, то в каком-нибудь продержавшемся два-три года журнальчике начала двадцатого века.

Я не выдержал, и когда на кухоньке у Кашинина за чаем опять начали мы затевать разговоры про летние отпуска, рассказал свой сон про самозванца. Кашинин не почувствовал намека, наоборот, крепко захватив в горсть на макушке волосы, увлеченно прибавил одного, потом другого однофамильца из мира художников и режиссеров, благо ни имени-отчества, ни даже инициалов постановщик во сне мне не оставил... Да мало ли в истории человеческой однофамильцев... Кто их всех сочтет, да и кому это нужно? «У каждого заключенного в лагере было по несколько фамилий, а у меня только две, – говорил с нашего прииска бурильщик Татаркин. – Т о г о воры задушили ночью портянкой. О н лежит, а ты за него пайку под его фамилией получаешь».

Но вот какая штука пришла на ум – хоть стой, хоть падай. Если ты, Дмитрий Грязнов, называешь себя Гореловым, то?.. Во всяком случае, отдает это чем-то неприятным, зачем тебе личина? Затем, зачем постановщик называл себя чужой, зеленой фамилией?..

6.

В субботу отец покупал вина, раскатывал тесто, и за неспешным разговором они лепили с матерью пельмени, жарили котлеты, потом садились за стол, а мы с братом, уже наевшиеся на ходу, отбегали играть к теплой печке. А родители все сидели, разговаривали, шутили, и вдруг отец, встряхнувшись, посерьезнев, голосом, выдававшим, что он уже не раз наготавливался сказать это, бесшабашно громко обрывал разговор:

– Давай споем!

Мать не отвечала, потому что внутренне тоже уже давно была приготовлена к пению, и даже не спрашивала: «какую?» И хотя у матери и у отца для будничных вечеров были у каждого свои песни, вдвоем они всегда пели про утопившегося доброго молодца в алой шапке с кистью.

Они пели и з д у ш и, томительно, с вольными всплесками или перебивами: «Стой, ты не так!» «Нет, ты не так!» – на миг освобождая голос из течения песни, выкрикивала мать и на лету подхватывала чуть было не истаявшее слово; и они в этом пении не только соединялись, но и расходились, и словно стояли на разных берегах реки, и старались докричаться друг до друга, но слова слабли, искажались широтой, и слух каждого мучился, пытаясь угадать их, и лица становились напряженно чужими, точно отдалялись от нас, и мы с братом не выдерживали, подбегали к ним, дергали за одежду, карабкались на колени. А они не слышали нас или, будто не узнавая, окрикивал нас отец, как взрослых:

– Вы что нам петь не даете?

И мы недоуменно отступали. Кружились, скакали по полу, кричали, стараясь перебить течение песни, которая пугала нас слепяще красной шапкой с кистью, качающейся на волнах, и непонятно тревожили, точно выстывшие в песне, лица родителей, обречённо следивших за этой смертной шапкой.

Что за непонятная тревога тогда овладевала моей детской душой – не могу понять, не могу вспомнить. Теперь думается, что та старая пес-

ня не приставала, не приживалась к той жизни, к тому дому, и когда я теперь так говорю самому себе, пытаясь объяснить ту тревогу, мне все представляются отец и мать с выстывшими, точно заблудившимися лицами, сидят они друг перед другом, положив руки на стол, а на столе нет ни еды, ни вина – стол голый, все из тех же грубых досок, прежде служивших тарой для аммонита; а за обитым мешковиной, на железных болтах ставнем – мертвенное, вымерзшее, в как бы прозрачной мгле, пространство – серое, как поле пепла после огромного пожара.

Но разве это как-то объясняет ту детскую, быстро сгораемую, точно стороннюю тревогу, выросшую в нынешнюю – уже неотлучную?..

В такие дни они долго не ложились спать и, занявшись каким-нибудь уютным домашним делом, все разговаривали. Я засыпал и слушал, и слова их были опять чужими, непонятными, но эта непонятность уже не подмывала душу, а ласкала, убаюкивала. Они вспоминали песенную реку, на которой страшно качалась одинокая яркая шапка, но волны ее были бесплотно прозрачными, как солнечный сон; ее можно было перейти даже и вброд, и негаданно поймать застрявшего на мели сома, оседлав его, как доброго поросенка. И стояли по берегам этой реки и ее сестер, Шексны и Мологи, деревни Всесвятской волости: Крутец, Городок, Борок, и еще какие-то, от которых ни цвета, ни звука в памяти не осталось, а только запах – запах топящейся вощницы, запах луга и храма. Подходили к деревьям вплотную доверчивые боры, серебряными коленцами подкатывались ручьи, а луга подымали звенящую радость с разогнавшегося простора, и слышалось смиренное, притаенное дыхание миллионов злаков, и кто-то молодой шел по ним, и каждая пройденная босоногая верста была легкой и не вмещалась в сердце, как огромная, отдельно прожитая жизнь. В церкви на клиросе пели «Иже херувимы», и тогда налетали еще чуднее и невместимее просторы – сколько вдаль, столько и вглубь – и вдруг замирала над высотой душа и, сжимаясь в груди, падала – и уж крутил ей ухо какой-нибудь пристальноглазый дедок, не забывая набожно креститься другой рукой: стой смирно, не вертись по сторонам, мальчик! До нас с младшим братом у родителей было еще трое детей, все они умерли. Я их тогда не мог даже представить, словно они рассеялись, стали небом, рекой, травой того чудесного, песенного мира.

Десять, пять лет. Может, всего месяц назад, может, еще позавчера я не верил, что все это у них – было...

Но вот наступил черед увидеть те места, которые мои родители называли своей родиной. Увидеть впервые церковь, настоящую землю, а не вечную мерзлоту. Увидеть реку, по которой плыла красная шапка. Увидеть крапиву, ежа, змею и услышать, не насмеются ли люди, прозывая свои родные места именами, произведенными от животных: Коровино, Мышкин? И главное – сравнить. Я втайне боялся, что родительская земля окажется лучше Севера – его я тогда горделиво называл своей родиной.

Я думал, что померкнут мои скалистые сопки со снежными пиками, заглохнут перекааты, неудивительным станет золото под ногами. Я готовился с неприязнью не признать превосходство родительской земли. Но в первый же час был смят, убит жалостью и недоумением: зачем они так стремились сюда? А отец, обгоняя нас с матерью, все набавляя шаг, шел по узкой, для одного человека пробитой тропинке, с лицом, какие я видел потом у людей во время пасхального крестного хода – высветленным изнутри; шел молодцевато, обивая брюками праздничного бостонового костюма пыль с травы.

Я нарочно вертел головой, но не видел вокруг ничего, кроме просевших в унылые лужайки деревянных домов и старых заборов. Мне стало жалко родителей и неуютно. Мне захотелось бежать назад за тысячи верст. Я точно чувствовал какую-то будущую угрозу в этой неуютности, и искал, искал глазами хоть один дом, хоть куст какой, хоть травинку, чтобы объяснить радость моих родителей. И не хотелось мне входить в калитку из серого теса. И холодными мне показались объятия и поцелуи плачущей старой тетки.

И тут мать кивнула нам с братом на отвал зеленой канавы, тянувшейся вдоль большого угрюмого огорода:

– Вон, крапива, смотрите! – И я сразу же побежал к ней, я сразу же ее узнал. Она стояла, как изумрудная зыбкая свеча с желтым пламенем цветка. Потом я никогда не видел такой цветущей крапивы, вероятно, я скрестил ее с каким-нибудь соседним растением, и она в таком виде осела в моем воображении. Я, радуясь, бежал к ней от толстой, скучной тетки.

– Не трогай, обожжешься!.. – крикнула мать. Но я не поверил и, смаху упав на колени, крепко схватился руками за мохнатый стебель...

Они стояли вокруг и смеялись, что-то кричали, а мне заложило уши от плача, и я не мог понять, почему они смеются надо мной? Я плакал и смотрел на них.

Больше всего на материке мне понравились древесные стружки, разноцветные, жаркие. Из них, ошпарив кипятком, крутили цветы для венков на заброшенные, забытые на четверть века могилы родных. Я слушал разговоры и опять не знал – верить мне или нет? Взрослые вспоминали, и яркие, легкие, сочно шелестящие, как стружки, видения вставали передо мной. То есть снова все было, как в неведомой, залитой водой Мологе и Всесвятской волости, и опять веял запах вошины, запах луга и храма, и в крепких, таинственных избах лили олово и топили воск, и узнавали по ним свое будущее – гроб или богатство. Приходил к гадавшим девушкам, заглядывал в пасмурное полуполночное зеркало суженый-ряженный. Открывались в кожаных переплетах древние книги на вещих местах и сказывали, где муж или отец, пропавшие без вести. Выгаскивали ведро из колодца, о т л и в а л и в о д у, б р о с а л и к а м у ш е к и узнавали, кто напустил порчу. И самыми чудными в этом сказочном прошлом были те люди, которым мы завтра понесем венки: мой дед, и бабушка, и другие сродники.

– Димочкина память... Димочкина память... – над всякой вещью то и дело приговаривала тетка. Димочка был ее покойный муж, и я Димочку видел так же ярко, как и ее, тетку Александру, и как-то утром, выехав со двора на своем трехколесном велосипеде, на тропинке замер, не успев даже крикнуть – загородив мне дорогу, стоял ее Димочка. Он был светловолос, в красной косоворотке, веселый, молодой, высокий. Что он сейчас со мной сделает? Но он не тронул меня, а лишь заулыбался и вздел мой велосипед на забор, и начал что-то говорить, а я не понимал от страха и убежал, но никому не рассказал, что это Димочка мой велосипед на такую высоту взгромоздил. Спрашивали – кто? И я отвечал: не знаю! И они смеялись. Я никому не рассказал, что видел Димочку, потому что был уверен, что видел его мертвого, не зря же он не показывался тетке, а только мне. Зачем ему показываться своей жене, раз она твердит: память... память... память! А мне – можно, я никому не скажу, не выдам. Да тетка, наверно, и сама знает, что мертвые

мужья и братья не уходят далеко и таятся где-нибудь рядом. Ну, хоть в этом хмуром необъятном огороде с прудом, и смородиновыми кустами и целым лесом старых яблонь.

В конце ноября мы перешли страшную, черную, только что вставшую Волгу. С радостью я возвращался на Север и с тревогой, потому что через несколько лет мне придется вернуться сюда и поселиться в бревенчатом с глиняными пазами доме на хмурой улице.

Пожалуй, и сейчас мне нравится не меньше тот котел долины с его короткими, летними пестротами. Но я уже не могу назвать его своей родиной. Она, детская земля, прекрасная и яркая, и, как звезда или комета – ничья. И дана была, как знамение, чтобы в заревном свете ее увидел я лик настоящей своей Родины.

Мне еще долго привыкать к этой хмурой улице. Мне двенадцать лет, справа – унылая дождливая Волга, слева – тоскливые ивы на окраине города, бедные, выщипанные лужайки. А какие у людей лица! Еще когда первый раз я ступил на эту землю с парохода, я увидел старуху, вышедшую с козой из проулка, ее недобро, навек застылое лицо... И что надо этой старухе, почему она так смотрит на нас? У-у-у, как смотрит!

Может, от того я и рвался так уехать, уехать, уехать из этого города! Если не вышло на Север, то куда попало. Раз уж сорвался с корня, то теперь летай по белу свету, как Бумажников, стирая подметки об адский камень – так называют в старых книгах асфальт. И сколько просидел я в чужих городах за книгами, как приваренный – не знаю. Разве время исчисляется в годах? И сколько я прожил – половину жизни или совсем не жил, прежде чем прочитанное стало складываться в близкий и таинственный образ, и, златозарно засияв, открылось мне мысленное небо с солнцем, луной и звездами и облако, похожее на виноградную кисть. А под ним, как дорогой плат, лежала она, Всесвятская земля<sup>1</sup>, и я из колымского плена шел к ней и под светлым облаком, и под столпом огненным. И люди ее были те же – о каких вспоминали мои родители. А я не мог им поверить сразу.

<sup>1</sup> Всесвятская волость Мологского уезда затоплена Рыбинским водохранилищем. Но Горелов в своих воспоминаниях и тот городок, куда переехали его родители с Севера, называет почему-то Всесвятском.

7.

Дом старый, кладка на пожелтевшем известковом растворе, между сводчатыми окнами второго этажа и по углам – кресты из клиновидного кирпича; когда-то отапливался он горячим воздухом по трубам, вделанным в стены, – теперь все нарушено, перегорожено на клетушки, и здесь, наверно, в самой маленькой из них, от печки уцелела белая изразцовая стена с медным, заботливо начищенным душником. Крючком на этот душник зацеплена деревянная вешалка с белым Ольгиным платьем. Она сидит за столом. Мне кажется, что платье теплое, я, забываясь, потрогал его. Ольга, слушая меня, недоуменно и угадывающе поглядела на этот жест, и я чувствую, что он ей почему-то понравился. Она привыкла, что это не печка, всего лишь стена, холодная, гладкая, со смутными бликами теней, а я теряюсь здесь, в ее спальне, осязание мое даже вздрагивает, когда я, заговорившись, взмахну рукой или неловко повернусь на стуле. Господи, была бы за окном зима, кутила бы вьюга между важных, останистых сутробов, как бы, радуясь, долго брел я, слушая скрипы своих шагов, желая возвратиться домой как можно позже. Нет, там настывшая, почти могильная глина под ногами, усаженная кое-где редкими, нескладными, как пауки, снежинками. И рыскает, ударяясь в каменные стены, грубый, темный ветер, и до города, кажется, добираться мне целую вечность. Я от этого так непроизвольно и встал, и дотронулся до изразцов, до платья. Но увидел ее взгляд и стал торопливо перелицовывать в шутки то, чем был пригнетен до встречи с ней, с Ольгой, и то, о чем я думаю, что ожидает меня за дверями ее игрушечного от старинности дома: шаги у загустевших от стужи луж, и хмурые лица в автобусе, и каменный холодильник города с угрюмо вклинившимся во тьму огнями...

Я у нее всего лишь второй раз, а уже говорю теми, моими, помеченными словечками, какие употребляем мы с Кашининым, и тем же юморком пытаюсь сгладить их кособокость, обнаружившуюся вдруг здесь, у изразцовой стены.

А Ольга слушает серьезно, губы ее полуотверсты внимательной, приободряющей меня улыбкой.

– Так мне эта жизнь надоела, ну, хоть караул кричи, или в о л о с а на себе драть начинай! – нажимаю я на в о л о с а и ра-

дуюсь, что Ольга заметила это. – За девяносто рублей в месяц должен я каждый день почти в шесть часов вставать, пять минут есть, пять одеваться и пять собираться, и бежать к трамваю, потом к автобусу, а потом – от и до – заниматься ненужной мне работой, говорить с ненужными мне людьми. Придешь домой, то да се, туда посунешься да сюда, сделаешь что по хозяйству, а уж нет времени – надо спать...

Она опять улыбнулась, как мне кажется, понимающе, но и как-то загадочно, и слегка наклонила темно-русую, лучистую от яркого света голову... Она будто бы понимает мои стрекозящие, наугад сказанные слова глубже меня и приживляет к ним что-то свое. Мимолетное или давнее? – вдруг загорается ревнивый вопрос во мне. И уже не первый раз так бывает, когда она отводит, задумавшись, глаза, и я пытаюсь охватить ее мыслью всю со стороны, понять причину моей робкой восторженности. Она, наверно, ждет, когда я уйду, уже пора прощаться, потому и опустила глаза. Зачем я так долго, так глупо сижу здесь, и разве, действительно, мне смешно вспоминать о той, разъедающей душу, унылой мнительности: день прошел бесцельно, и завтра будет то же, что сегодня. «Ах, ты, собака!» – закричит не проспавшаяся кондукторша. Лезут люди в автобус, глаза вылуплены, друг друга открыто толкают. Еще какую-то ниточку, которой тайное в этих людях, самое злое связано, оборви – и вперстятся в лица друг другу. Все из-за того же места в автобусе...

Я замолчал, пытаюсь вызвать ярче ту лень с убитой душой, тот беспорядок помыслов, близкий нравственному расстройству... Да было ли оно?

Ольга смотрит на меня и не спрашивает, что же дальше? Она вслушивается в мое молчание, как до этого вслушивалась в слова, но глаза ее, большие, как из черничной глазури, остаются спокойными, почти чужими, не знающими меня глазами с портрета. Хотя она не скрывает приязни ко мне, старается, где можно, обнажить ее. Это волнует меня, мне хочется дерзко сказать ей вспомнившуюся еще из студенческих лекций строчку античного поэта, совсем было забытую: «Темным, мерцающим взором очей своих влажных Эрос глядит на меня!» Но мне, конечно, не сказать. А сиди здесь, у этой изразцовой стены с таким белым доверчивым платьем, Кашинин – он сказал бы, наверняка... А мне... мне пора уходить.

Я говорю ей об этом и в ответ на ее молчание заглядываю в уже ночное, как пролитые чернила, окно и, затягивая уход, опять сажусь, принимаюсь за словесную личину своей жизни...

Ольга сделала движение опустить голову на руки. Хочет спать или так удобнее слушать? Я забеспокоился и уже без всякой гримировки привычно повторил, что вот и полжизни прошло, что так и всю жизнь проживешь, со смертного одра глянешь, а перед тобой стоит всего лишь один серенький с низким потолком денек, и лыбится из него чья-то мерзкая морда с гниловатыми зубами. Лучше бы уж и не жить такую жизнь, а проспять ее всю, или пьяницей под забором провалиться...

– Неужели так? – сказала она весело, и красивое лицо ее затеплилось таким светом, таким внезапно открывшимся цветением ее души, что я примолк. Я был точно вырван некоей веселой силой из своих же слов и так же весело, в лад, как она, будто уже о чем-то, только нам, двоим, понятном, сказал:

– Конечно, так, а как же по-иному?

– Завтра тебе рано вставать, – ответила она.

Я, быстро глянув ей в глаза, сказал просто:

– А идти не хочется... странно!

И, попросившись, пошел уже привычной мне улицей, с уже привычными, местными мыслями. Они были сыты, спокойны, чуть даже ленивы. Почему лукаво выговоренные Ольге мои, с пометами, прямо с тела, слова-словечки, прозвучав там, исчезали, превращались в неслова? Ведь я с ними до этого жил, как с квартирными принадлежностями... Но зачем она все-таки их слушает? Они точно нужны ей, как цирковому фокуснику. Вбирает их и точно укладывает в огромный черный сундук. Сундук открывается – а слов уже нет. Спокойно торжествующая улыбка, лучистый, темно-русый облик, и эти... черничные, как с портрета, глаза... Стоп, да это и не слова совсем, а мое дыхание, угарное от табака. Неужели они вправду нужны Ольге?.. Может, сегодня бы я мог остаться у нее... Странно, мне уже не кажется ветер этого мира неприятным, а глина под ногами – могильной. Город не кажется мне бесконечным рядом серых деревянных и каменных барачков с людьми-муравьями, суесящимися под команду... (Кто, откуда командует, Оля? Да все тот же с низким по-

толком денек, откуда бластится лыбящийся, гнилозубый облик, почти уже загробный). Нет, город зацвел раскаленно огнями бетонных дворцов, фанерными щитами, аляповатый картон плакатов, жирный пурпур и мясного цвета кумач объял пустоту трибун и залов; давят на шпили древних куполов звезды победителей. Но ныряют еще, ныряют в высоте золотыми ласточками поредевшие кресты церквей. А лица! Точно отлиты из олова и раскалены теми же адскими цветами. Я будто зажат разгаром некоего языческого действия. Какой самозванец разбросал по Руси костер из изрубленной радуги и поставил нашу трагедию? Благодушие, выигрышное по сравнению с человеческой породой, отблескивает из плоской эмалевой бездны автобусного бока. И я мысленно даже похлопываю по этому боку железное животное: поехали! И с любопытством поглядываю на пассажиров. Я знаю, что на моем лице сейчас сквозит затаенное, знающее, чуть подсматривающее выражение. Лицо сжимается в кулак, чтобы не выпустить улыбку. И мне не жутко, я ловок, уступчив, крепко себе на уме, и по глине прошлепал, не обругался ни разу и не измазал брюк. Хотя, может, нам только кажется, что мы куда-то шлепаем, едем? И я крепко сплю, заключенный в теплый воск насильственно пестрого сна наяву? Пленный образ, погасшая свеча обезображенного храма. Но это я грежу, уже и вправду засыпая дома, на своем диване.

8.

Сегодня – выходной; я приехал в Лучинское, в музей-усадьбу, к полудню. Ольга стояла у дома в светло-сером пальто нараспашку. Она издали увидела меня, и я, волнуясь, шел к ней по розовой от осенней листвы и солнца аллее и не знал, как ответить на ее улыбку. Она, словно мы и не расставались с ней, показала рукой, как подумалось мне, на свое окно – смотри!

Я не понимаю, радуясь, стал смотреть.

– Да не туда! Вон, видишь, под карнизом табличка... – И я, наконец, увидел ржавую железную табличку между кирпичными крестами и с Ольгиной подсказкой разобрал на ней дату: 1846.

– Видишь, какой старый у нас дом?

Я стал шутить, говорить, что табличку приколотили какие-нибудь озорники...

Мы стояли и спорили шутливо у голо клубящейся ветвями акации. Кто-то выглянул из окна, мы, сделав вид, что не заметили, пошли рука об руку, и Ольга сказала серьезно:

– Ты знаешь, почему дом такой основательный, как замок, и такой игрушечно красивый, как ты правильно подметил?

– Почему же? – беспричинно радуясь всему, что мне говорила Ольга, спросил я.

– Потому что тогда был Гоголь. Сейчас нет Гоголя, и домов таких не строят...

– Как так? – не понял я...

– Да очень просто... Коли есть Пушкин и Гоголь, то и дома надо строить не такие, как... – она не договорила и кивнула на прокопченный сруб бревенчатого барака, распространявшего из кирпичных труб ядовитый чад каменного угля...

Я про себя согласился с ней, но вслух, от того, что слова ее были так ясны, заспорил, и мы начали говорить о поэтах, что писали за десять-пятнадцать лет до строительства дома.

– А откуда ты знаешь Тимофеева и Кукольника... и Соколовского? Ты ведь не филолог? – спрашивает она, останавливаясь и с милой подозрительностью разглядывая меня.

Так, разговаривая, мы по туманному полю перешли к березовой роще и увидели, что день сегодня сине-золотой, и синева эта – последняя, прощальная, грустная и веселая одновременно. Да мне и всегда, когда рядом Ольга, не верится, что наши отношения продлятся долго, что мы можем даже стать мужем и женой. Я не спрашивал, моложе она или старше меня, может, ей около тридцати, может, и больше. Грудь у нее маленькая, талия тонкая, как у девчонки, а бедра и ноги плотные, полные... Была ли она замужем?

– А вы не догадываетесь? – продолжаю я шутливую болтовню. – Неужели вы все-таки не догадываетесь? Это так не идет к вам... Кому же нужен Алексей Васильевич Тимофеев? Конечно, только тому, кто и сам грешен... Сочинитель нужен только сочинителю, – тут же поправляюсь я более серьезно. А про себя: «Для чего я признался – разве я действительно – сочинитель? Только и сочинил, что «мирочувствие». Да и то вместе с Кашиным». Но добился своего:

– Прочтите же мне, – просит Ольга требовательно.

Мы медленно идем по громко шелестящей, цветной листве. Я притворно отнекиваюсь, наслаждаясь ее любопытством. Делаю вид, что сдаюсь – и вот уже – мечутся, скачут, сорочат между белых стволов суставчатые бобровские строчки...<sup>2</sup>

Ольга даже остановилась – я был вознагражден за свое притворство: такого выражения у нее на лице я еще никогда не видел. Потом она долго высмеивалась, остановившись и держась за мое плечо. Потом смеялись оба, болтали увлеченно до вечерней тени, когда лицо ее вдруг затихло, задумались огромные, потемневшие глаза, она поправила волосы и замолчала. Я, как увидел ее глаза такими, даже поежился под пальто – так мне осязательно вдруг вспомнился другой поэт-неудачник, мой земляк Александр Ивняков. Потому что в одной его поэмке есть строчки: «Выведи ей лик большой, как осень, выведи ей очи, словно сад... В глубине, притихшей и дрожливой, только две торжественные сливы под ветвями гнутыми висят»... Но я переборол желание: а вдруг Ольге не понравятся эти простоватые, так нигде и не напечатанные стихи?..

Мы без труда переводим разговор на другое... Я взял ее за руку. Она остановилась. Смотрит в близкое меж ветвями, нежное, зарозовевшее небо, словно чего-то выглядывая там. Я вижу только один лист, изворачиваясь, задевая о голые прутья, долго падает он, замирая, почти останавливаясь в воздухе, в храмной, стройной белоствольной выси. Я, не дождавшись, когда лист упадет, поворачиваюсь к нему спиной: лицо Ольги с отраженной высотой, странно близкое и далекое. Я впервые замечаю тонкие, светлые морщинки у глаз, и целую ее, но губы срываются – и раз, и второй, и она, прыснув смехом, уткнулась мне лицом в грудь. С меня неловкость сняло, мне стало весело.

<sup>2</sup> С.С. Бобров, 176? – 1810. Этот темный, тяжелый стихотворец за что-то особым любим Гореловым. Скорее всего, за то, что он – земляк Виталия Семеновича Горелова, как музейщик, одно время занимался собиранием материалов о жизни и творчестве С.С. Боброва и напечатал о нем статью в областной газете. Там есть слова, что Бобров, «вглядываясь в каждый предмет как бы разлагает его на стихии, затем на семена стихий»; расплавляет сам состав предмета, и расплав этот, как зеркало, отражает часть мира. Так луг у него – «пир цветов» и т.д.

9.

Домой мы пришли уже на закате; шли молча, я все время отставал, прикуривая папиросу и слушая, как Ольга уходит вперед.

Я еще не снял пальто в прихожей, где на стенке приютился портрет небритого, в свитере, Хименгуэя, а у нее в руках уже был «Русский вестник», и она нетерпеливо выглядывала из комнаты, говоря:

– Отгадай, кто написал?

Из знакомых стихи мне, смешно козля, гласил только один Кашинин.

– Отгадай! – воскликнула она еще раз, затворив полустеклячатую дверь за мной, и голос ее переменялся. Ольга читала неверно, не передавая красоту внешнего звучания, отдаваясь внутреннему, пугливому слуху, иногда будто запинаясь. Так читают письмо от родного человека, за каждым словом угадывая не только то чувство, которое двигало пером, но и другие его мысли, знакомую обстановку, вечер в комнате.

Когда праведник светлые очи,  
Умирая, навеки сомкнет,  
Возле тела три дня и три ночи  
Неотлучно душа его ждет.

И все радости жизни сначала  
Перед нею проходят опять:  
И все то, что она испытала,  
И все то, что должна испытать...

И когда третья ночь на исходе  
И погаснуть все звезды спешат...

Слова с грациозной неловкостью сталкивались на согласных, как сталкиваются желанно губы, думал я, вспоминая поцелуй в березовой роще, и, глядя в блистающий тенями изразец, видел там образ мифической души и то, как она выше и выше подымается в своей матовой бескрайности:



Тихий ветер приносится с юга,  
 Весь пропитан дыханьем цветов,  
 И ту душу из тесного круга  
 В вечность манит таинственный зов.

И душистые волны вдыхая,  
 Она к небу подняться спешит,  
 И оттуда в лучах молодая  
 Дева тихо навстречу летит.

И забывши весь страх и заботы,  
 И весь мир, вопрошает душа:  
 Ты скажи мне, откуда и кто ты,  
 Отчего ты, как день, хороша...

Ольга уже почти равнодушно, будто бы не в первый раз прочитывая п и с ь м о, взглядывает на меня ожидающе: неужели знаешь? – и заканчивает:

Я лишь в небе твое отраженье,  
 Ты во мне лишь свой отблеск нашла,  
 Отразились во мне все стремленья,  
 И все мысли твои и дела...

И вдруг, не дочитав, захлопывает журнал и:  
 – Ну, говори! – торжествуя улыбаясь, спрашивает она и становится похожа на учительницу. Это любимая ее игра – отгадывать авторство: она уверена, что мне не отгадать, и, продлевая наслаждение, будто стихи ее и она их полная владычица, декламирует еще, наизусть:

Завесу времени колеблет смертный час...  
 Ужасно чувствовать слезы последней муку!..

А глаза ее, удивительные черничные глаза, стояли неподвижно, как вода подо льдом, лишь влажно темнели. Я глядел, не отрываясь, в них. И она с нетерпеливой радостью, наклоняясь грудью к столу, восклицала:

– Вот!.. Кто это написал?!

– Это стихи одного и того же автора, – бездумно отвечал я.

– Пушкина спутал с Цертелевым! – вскидывалась Ольга, и мы вместе смеялись от того, что я не угадал – в этом и была вся прелесть нашей игры – чувствовать, что стихи пока ничьи, н а ш и, может, станут пушкинскими, может, цертелевскими, и радовались мы больше, когда оказывалось, что они ни того, ни другого, а совершенно выпавшего из головы Ореста Сомова. Вот же ему повезло!

Я говорил, что в нашем музейном кругу никого не встречал, кто бы любил литературу больше меня, и когда начинал толковать с каким-нибудь областным сочинителем о Владимире Соколовском или Боброве, восхищаясь ими, глаза у сочинителя становились пустыми, с отчужденным удивлением посматривали на меня. И один мой добродушный знакомый, толстяк, сострадательно объяснил: «Слушай, ты больше никогда не говори им об этом Булгарине – может, они никогда о нем и не слыхивали!» И меня вдруг так удивили его слова, тем более, что и сам он никогда не открывал Булгарина; и была в них такая грустная и обличительная правда, что с тех пор я, боясь прослыть оригинальным человеком, стал более умерен.

Я ей ласково, незлобиво пересказываю все это, она возбужденно – лицо ее так и играет смехом – не обрывая, перемешивает мои слова со стихами тех, о которых я говорю... И она слушает и не слышит меня...

– Откуда у тебя такая память? – спрашиваю я. – Ведь чаще этой способностью природа одаряет мужчину?

– А ты видел, какой почерк у Нестора Васильевича Кукольника? – перебивает она меня. – Я долго не могла понять. Откуда этот Иоанн Лейзевиц, этот Тассо на русской почве, рыцари и влюбленные пажы, и волнения страсти... И вдруг увидала его крупный, размашистый почерк – да таким только канцелярские бумаги подписывать! Да ведь он и был начальником, и не малым. Как это гармонично: начальник, и он же – поэт! Поэт-чиновник!.. Когда перед начальником носится образ Торквато – этот образ уравнивает его чиновничество. Это ему полезно. Не зря же он о своем неблагонадежном подчиненном Салтыкове-Щедрине хлопотал? Ты представь – председатель облизполкома и – поэт! Каково? Сидит и: «Между небом и землей песня раздается» – пишет у себя в кабинете...

Она почти устало замолкает... Да и я – молчу... Снова – около десяти вечера. Мелькнуло на окраинах памяти, в ее сумерках – а ведь Кукольник тоже похож на постановщика-самозванца. Только Кукольник длинный, с кудрями до плеч, а тот приземистый, плотный, и глаза щелками, вприщурку...

– Ольга, – спрашиваю я, – мне страшно уходить от тебя... Да и куда я пойду, Ольга?

10.

Уже почти неделя, как я не видел Ольгу. Причины этому самые ничтожные... Каждый день звонил ей, говорил, а слова слабли, точно умирали, ударяясь о черную пластмассу, запотевавшую в руке. И Ольга отвечала скупой, незнакомо. Положив трубку, я долго стоял над телефоном, недоверчиво вслушиваясь в себя, в свою пустоту, темнеть и холод, будто потерял причину своего бытия.

Да что же это такое, в самом деле? Почему я не могу бросить все и сейчас же поехать к ней? – И житейские обстоятельства, точно чувствуя этот вопрос, вырастали: так вырастают тени у всех предметов к вечеру – вот уже вместо столбика – мрачный уступчатый замок, вместо беседки – неприступные развалины; именно вечером, как я не раз подмечал, глазу сподобнее в изменчивых наплывах облаков отыскать то огромного медведя с мешком за спиной, то носатую окровавленную голову.

Опять, с е р ы й мир, отемнеешь ты сердце мое? Сбивчиво, невнятно творится во мне разговор, будто бы между мной и разросшимися обстоятельствами. Я делаю усилие, чтобы сердце мое увидело и Ольгино лицо, но... угасло то веселое сияние, в каком прежде являлась мне она. Ольги будто нет... Хорошо, что она есть! – повторяю я терпеливо и грустно. Ольга! Но в ответ изнутри холод схватил, застыл притворный свет: живое, страстное, охряно-коричневое сияние. И трепет пробегает по всем моим воспоминаниям; мне становится тревожно, я вдруг догадываюсь – у нас с ней есть уже прошлое! И в прошлом Ольга недостижима для меня, и эта недостижимость будет все вырастать и утягивать... утягивать нашу жизнь в себя... Разве не считанные недели люблю я Ольгу?.. А наше прошлое смотрит на меня, и я уже чувствую жалостливую отрешенность от него.

Надо было тогда, когда впервые увидел Ольгу, остановиться и закричать: Ольга – это прошлое! Все здесь: и лужа, и коричневая глина, и хилое деревце, не прижившееся еще к этой глине, и наши следы на ней – прошлое!

Да, было около полудня, когда я приехал тогда в Лучинское. День начал разъясняться, туманец посветлел, тонкая подснежниковая синева вдруг затеплела меж белых, раздвинувшихся облаков... Так, задумавшись, шел я по гладкой, подсохшей после дождя тропинке и случайно – здесь тропинку уничтожила тракторная ужасная колея – глянул на женщину, стоявшую за этой колеей, напротив. Глянул и поспешно опустил глаза. Такие женские лица запоминаются и тревожат. Что же... смиренно я стал перебираться через засасывающую ботинки глину... Ой, сказала она. Это «ой» мне не забыть. Я вскинул глаза, невольно пытаюсь убедиться, ей ли принадлежит этот голос? Лицо ее, и смешливое, и растерянное, – передо мной. Красота делала ее точно старше или вообще выводила из возраста.

– Помогите же мне! – все тем же нежным, зыбким голосом позвала она. И я, увидев несколько книг, упавших в грязь, спохватившись, нагнулся к ее сапожкам; руки мои в глине; а книги те – не книги, а старые русские журналы; бечевка лопнула, журналы упали, и вроде н у м е р а знакомые – это и придало мне бодрости.

Она стояла надо мной, неловко прижимая к груди несколько не выпавших еще книг, и конец бечевочки был зажат между озябшими пальцами без перчаток – и на одном матово потускнел от сырого воздуха золотой перстень.

Он мимолетно удивил меня... перстни, кольца, серьги и другие поделки из этого в юрких бликах металла я долго не хотел признавать за золото; все вспоминалось мне золото девственно грубым, как махорка или тыквенная шелуха на бумажке – и старатель, точно наклонившись для поцелуя, отдувает из него грунтовую пыль. Еще помнилось, как металл не мой и тщетный; мой отец в лаптях, толкая тачку с грунтом, за каждый пруттик запинаясь с голоду, д о б ы в а л его... Перед отъездом с Колымы он выбросил два мной намытых грамма золота на помойку. То и было настоящее – а женщины на материке носят т у ф т у. И легкая тень из детства, задевшая меня, тотчас же обернулась какой-то шуткой о золоте словесном – так

я назвал старые русские журналы. И слова мои понравились ей, и улыбка, будто донные светлые струйки, заструилась по ее лицу.

Я с удовольствием донес ей книги до дома. Дом оказался в ста шагах... Пригласила на чашку чая – зашел. Поговорить же двум музейщикам о своем – почему не поговорить?

## 11.

Полвторого ночи. Я хожу по комнате и улыбаясь, бормочу, как самоговор... *Зинеида... Зинеида!*<sup>3</sup>. Я несколько раз уже пересказывал Ольге, как впервые увидел ее и услышал это «ой», и что подумал о перстне... И она каждый раз ласково смеялась. Я чувствовал, как вся душа моя переливалась в этот бездонный, как ночь, смех. Она вдруг капризно отталкивала меня кончиками пальцев в грудь и читала на память сначала шутливо, а потом все больше разгораясь:

*– Пройдя тысячу шагов, увидел я впереди даму в черной шляпке и клоке особенного цвета, несколько мне знакомом. Она была одна, без лакея, и шла очень тихо мне навстречу. Я начал высматривать себе поблизости сухое место, куда бы мог посторониться для нее с тропинки. Мы скоро поравнялись. Чтобы пропустить ее, я остановился и не смотрел ей в лицо из учтивости. Она тоже*

<sup>3</sup> Повесть О. Сенковского «Любовь и смерть», напечатанная в томе втором журнала «Библиотека для чтения» за 1834 год. Из нее Ольга К. читает наизусть Горелову: «В мае 18xx года, по обыкновению, поехал я на Остров, в исходе третьего часа пополудни. День был прелестный. Я приказал везти себя другим путем, по Большому Проспекту, и остановился у Финляндских казарм. Оттуда пошел я тихо, задумчиво, печально по направлению к кладбищу. Только одна тропинка была суха в этом месте, и на ней приходилось довольно часто миноваться с мужиками и гуляющими островитянами, – что не весьма мне нравилось. Однако, я пошел далее... Пройдя тысячу шагов, увидел я даму»... и т. д. «Вы на меня уже и не смотрите! – сказала она голосом, который разорвал мое сердце.

Я приподнял глаза.

– Зинеида!... То была она... Она! – та же, как семь лет тому назад, молодая, свежая, розовая, с теми же голубыми глазами – чистыми и голубыми, как пучины Средиземного моря» и т. д. В той старинной повести возлюбленная героя, Зинеида, умерла, но он во время странной прогулки у кладбища встретил ее живой и пошел за ней, не раздумывая. Спустился под богатое мраморное надгробье. Оказался в обомшелом склепе, у гроба, выложенного мягким, черным бархатом. Вскрикнул, очнулся дома, в горячке. Покончил жизнь самоубийством.

*остановилась... Вы на меня уже и не смотрите!* – сказала она голосом, который разорвал мне сердце. Я приподнял глаза...

– *Вы на меня уже и не смотрите?* – выговаривала Ольга еще раз – для меня, серьезно, с удивленным, скопившимся волнением в глазах.

– *Зинеида!* – вдруг пронизываясь этой жгучей любовной игрой, выкрикивали шепотом мы в один голос. И она даже вскидывала руки, будто бы бросаясь ко мне на грудь, и я быстро охватывал ее стан, и она желанно выгибалась назад, далеко запрокидывала голову, и, не дотягиваясь до смеющегося рта, я не своим, сухим, слипающимся шепотом просил приблизить ее лицо...

– *Да, то была она!.. Она! С голубыми, как пучина Средиземного моря, глазами,* – просил я, повторяя эти чужие страстные слова...

С этими словами я лег и мне приснился сон, что родня моя и приятели из нашего кружка Блуканов, Котов, Горынычев у Кашинина сводят меня с какой-то женщиной для знакомства. Она в платье, сшитом будто для сцены, у нее красивая грудь и шея, и прическа, как на альбомных акварелях времен Николая Павловича... Но что-то в этом образе, как постепенно подмечаю я, карикатурное. И вот еще тонкое, печальное наблюдение: кто-то невидимо изнутри точно следит за моими мыслями, даже случайными. Это как чье-то острое видение: одно зрение без лица и персонажа, размешанное в световой воде души. Подмешалось и смотрит, и тотчас же в свою сторону, в свою выгоду предлагает картины и образы часто соблазнительные. Точнее само зрение это становится этими живыми образами и картинами. Все время ты под обзором, под наблюдением, – думал я вполудья, в дреме.

Это невидимое, но осязаемое сознание, примешавшееся к твоему – притворный свет. Неприятное, слегка зудящее, давящее. Нужен покой и внимание себя, чтобы почувствовать его в своей душевной хранине. Воплощается оно в образе темноголикого самозванца, знающего, твои намерения и страсти души: «Я знаю, что ты хочешь поставить трагедию!» Откуда бы ему знать? Потому что подглядывает, жадно всматривается, к чему бы ему прилипнуть. Ищет способ, чтобы извяться, прочнее привиться к душе. А мы настолько поглощены своими страстями, что даже не опасаемся никакого подвоха. Что за незванный помощник?

Источник его притворного света под темным куполом душевной храмины – оземленелая радуга, наподобие тех, что разгораются в цирке, когда акробаты исполняют свои опасные номера. Свет и здесь, как над ареной, искусственный, застеклевший, умерший. Радуга – изрубленная, свет – распавшийся на свои составные цвета. Свечи – огарки, не догоревшие, погасшие. Напоминают они и о соляном, с Лотовой женой, столбе у Содома. Они оплывают от силы умирания, остекленения, тают, как холодное вещество, только нематериальное. И образы в них спящие, рассказывают, как их замуровал, оземленил притворный свет дьявола, он отвердел и, как панцирек, покрыл их своей коростой... Все развоплотится, растает, оземленеет, рассосется по полу. И образы-призраки спящие исчезнут. Тогда погаснет и изрубленная радуга, насмешка над Божьим светом с людьми, и упадет черная, живая тьма... Так овладевает людьми это безымянное, острое и холодное, землистое со-знание. Безымянное – самозванца корежит, когда его спрашивают: «Как твоя фамилия?» Он сразу же – боком, боком – и исчезает во тьме... Зеленая фамилия – не из нашего ли мирочувствия украдена?.. Давненько я не бывал у Кашинина. Есть о чем ему рассказать... Стал в уме составлять письмо Кашинину и снова заснул.

12.

Сегодня, 28 декабря – это число надо запомнить – случилось чрезвычайно глупое и пошлое происшествие... Один чрезвычайно глупый и пошлый, и по нынешнему веку еще довольно молодой человек, напевая внутренне и даже улыбаясь незнакомым лицам, спешил от автобусной остановки к старому дому в одной знакомой улице. Свежий снег хрустел под ногами, точно подгоняя его и даже будто бы намекая на что-то. И по лестнице вбежал он степенно, еще ничего не подозревая, и, задерживая радостное, волнительное дыхание. И вот... стоит у обитой рыжим дерматином двери.

И тут, не дожидаясь стука, дверь сама открывается. Ольга!

Нет!

Это незнакомый мужчина в солидном коричневом пальто... в десять часов утра. Не глядя на меня и даже будто бы отворачиваясь, он поспешно уходит. Но в коридоре останавливается у распределительного шкафа, что-то там вкручивает, щелкает кнопками. А я... я, удивляясь сам на себя, схватываюсь за дверную ручку.

Ольга стоит красивая, угренняя, в халате, на столе чайные чашки...

Странно, что я не чувствую ни ярости, ни гнева, и меня охватывает какой-то ужас беспомощности. Ольга видит мою растерянность. Она говорит, но сквозь тугой красный звон в ушах смысл не доходит до меня.

– Ты огорчился? – подходя ближе, повторяет она и улыбается виновато. И... блудливо, как мне теперь подозревается.

– Я... нет! Но ты... скажи... – говорю я, дополняя свою обреченность. А злобно думаю: зачем так говорю? – уйти сразу, молча. Но ноги мои не хотят – приросли к полу.

– Это мой бывший муж... Я же тебе рассказывала... Он приехал по делам... Снимать телефильм про усадьбу... Он ночевал здесь... Ему надо оформить кое-какие бумаги для развода. Я знаю, что я виновата перед тобой, но я же тебе говорила – не приходи...

Я смотрю на нее и не понимаю выражение ее лица, вся она мне, как укор. Да и понимал ли я ее прежде? Слово «ночевал» точно отодвинуло меня к двери... Бессмысленно гляжу на нее, она берет за рукав меня. Но тут снова – открывается дверь... Он!.. Спиной ко мне, пробормотав что-то, он продвигается в комнату, а в руках у него – батон! Вот что совсем убilo меня. Я делаю злые шаги и заглядываю в другую комнату – там чемодан и раскладная кровать. Когда-то выставлялась она для меня. А он все стоит ко мне спиной, в пальто, с батоном, как с доказательством моей гибели. А усов у него вроде и нет – показалось... Зыркнул, как на знакомого, полосками глаз черными...

Хорошо, что я уже на улице, хорошо, что я уже бегу, самые настоящие слезы закипают у меня на глазах, пальто у меня нараспашку. Верно, войдя к ней, я машинально начал расстегивать пуговицы...

Снег... Барак... Прохожие в автобусе – я жадно смотрю на все – все это лучше, чище Ольги... Что я наделал?! Вернуться? А почему он все ко мне поворачивался спиной? Да как он смел?! Что его принесло, втащило в старый дом, в н а ш уют? И подозрительно, ревниво я вглядываюсь в о в с е – и нахожу то, что я искал. Что делает ревность мою испепеляющей. В с е - в с е понятно. Строятся обличения, объясняются прежде невинные жесты, взгляды... Развратная женщина...

Эстетизм разврата... Набралась его из книг – книжный! Существуют же такие могучие клетки из мысленного железа, куда человек заключает зверей, именуемых «обстоятельствами». И снова можно жить спокойно, и даже угостить зверя сквозь решетку куском мяса... даже и своего. Кто кормит, тот и хозяин. Жадно я вглядываюсь в свои мысли... Они накапливаются... Ну же, могучие клетки!

И вдруг – точно удар в грудь – на меня глядит Ольга, ее лучистый, чистый облик, и черничные, печальные глаза, точно укоряют меня... Да неужели в с е – не так?! Что же – т а к!? Он не ночевал что ли? Ха – не ночевал! Лгуша! И драгоценный образ ее летит в серый тоскливый свет, тонет. И густая тоска темнотой своей обжимает мою душу.

13.

Да мне она привычна, хотя и не очень любя... Короткие дни, багряные, долгие зори, когда грязный снег точно облит вином, не выпавшие лица в автобусах... Время бессонницы, искаженности чувств, время серых снов, жутко копирующих действительность... Пребывая в этой мгле, я, однако, вскочил с дивана несколько ранее обыкновенного, хотя и день выходной, и, припоминая приснившийся мне сон, засуетился. Вычистил зубы, кое-как поел, и – полы пальто бьют по ногам, портфель раскачивается в руке. Вот я и приехал...

– Ого-го-го-го-го! Тра-та-ра-та-ра-ра-ра! – такими стихами встретил Кашинин меня на пороге, улыбаясь хитровато и подозрительно щурясь:

– Почти целый месяц у меня не был! – и он отступает вглубь комнаты, будто бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня. И я чувствую, что и сам я внешне готовно облакаюсь, как в личину, в ту же хитроватую веселость – а что еще остается делать обреченному человеку?

Но я пока еще терплю, медлю, говорю ничего не значащее:

– Эх!.. Да вот так... понимаешь... – И, пряча за этими дружескими восклицаниями наготовленные жалобы, словно наслаждаюсь тайной своей горечью... Жена у Кашинина на школьные каникулы с восьмилетней падчерицей уехала к родителям на Донец, в гости. В комнате – беспорядок солнечных лучей, я заглядываю в окно на

сверкучую, дымчатую окраину – вдалеке, за снегами покатога поля, угадывается церковная маковка Лучинского.

Но уже через минуту Кашинин знает обо всем. А я подшучиваю, дергаюсь, тарантю ногами, хотя внутри у меня, там, где горечь, все молчит... И сколько бы я не кричал, не смеялся – очнешься, глянешь со стороны – а внутри все то же молчание.

– Так, – говорит Кашинин, – предупреждал же я тебя?

– Нет, ты меня об этом не предупреждал! – вскидываюсь я обрadowанно: – Я ведь и не собирался жениться, а ты говорил, что... – И я снова, единовидно холодея от жалости к себе и улаживаясь ею, пересказываю ему в с е, обрастая лишними шутками, жестами... Словно пытаюсь подделаться под праздничное равнодушие мира – походить на эту, занявшуюся солнечным огнем снежную окраину, где торчат тающие в сильном свете столбы, и выведена по целику комковатая синяя дорога – и за ней черный, радостный, резкий свет зимнего леса... Свет моей обреченности... Странное, жгучее единство. От э т о г о все равно никуда не уйти... Эх, Ольга, Ольга...

– Смотри, какой радостью мир оброс! Ведь скоро Новый год! – гомоню я, переводя разговор на смежную тему; а про себя прямо в глаза беспощадной тоске: «Вот и я – эх, хорошо живу... А как солнышко зайдет – сугробы станут рогожными»... И вслух:

– Да-а-а-а-а... брат!

– Говорил я тебе – беги от нее дальше! – сечет ладонью косою, подслушивающий нас луч Кашинин... Говорит, опуская глаза и с явно поддельной серьезностью. И я, готовно сомневаясь в этой серьезности, начинаю сомневаться и в Ольгиной измене... И говорю, говорю, говорю... Кашинин слушает с любопытством. И даже встает и, делая новый артистический жест рукой:

– Рука смерти прошла около тебя – беги ты от этой женщины!

И сам он, наверное, чувствует, что чересчур уж выпукло выразился, и слова его повисают с солнечной пылью в комнате, и тотчас высверкивают из них то ли лучики, то ли ключики звуков во мне: «Не беги! Не беги! Не беги!» И эти звуки, и свет овладевают душой, и я, так и сяк поворачиваясь телом перед Кашинымым, а на самом деле – в том свете, в том звуке – безалаберно, наугад начинаю ругать Ольгу и в с е н а ш е с Ольгой прошлое: и что книг она начиталась,

и в книгохранилище московском наработалась... Да и муж ее такой же, как она, «искусствовед» – в каком-нибудь туристическом бюро экскурсии водит.

– И уж не первый, наверно, муж, как всегда у таких баб! – заботливо подсказывает мне Кашинин. И тут же тем же тоном, с той же заботливостью:

– Сейчас я, братец, твой портрет писать начну...

Целая буря жестов, просьб, но Кашинин увлеченно непреклонен. Я понимаю, что он уже не видит меня, что вперился своим умственным оком в образ будущего портрета... А я смертельно ослаб и ни на что кроме жалоб сейчас не способен.

– Ты только сиди... И все. А работать буду я... Нет, ты говори, говори, – разрешает он. И нагибается к холсту, и чуть вбок, и выкидывает резко руку с кистью, будто ощупывает, охаживает стоящего перед ним невидимку. Так примеряет портной костюм, но только человек – виден, а костюма – нет. Тут же – ни человека, ни костюма...

Мне становится скучно. Кашинин не на шутку увлечен портретом – и жалостливые слова мои, безответно ударяясь о холст, возвращаются, как осы, в мою душу... Я сдерживаюсь. Спрашиваю:

– А где же мой тот, недавний портрет?..

– А... плохой, замазал... вон! – кивает Кашинин...

Я гляжу туда... Там какое-то багряное платье... или просто пятно. Лица совсем нет...

– Ты говори, говори! – вдруг сердчает на меня Кашинин, не разгибая стана, и тут же берет со стола мою шапку, зачем-то надвигает ее на лоб и, глянув из-под мохнатого козырька странно, делает звучный удар кистью по холсту, и я одновременно:

– Что же мне говорить? – спрашиваю его.

– Стихи или... что хошь...

И я начинаю стихи и «что хошь», и это мне надоедает, а иней на окне стал уже пепельно-матовым. Кашинин чертыхается, торопится, пока есть еще дневной свет. И я, чтобы угодить ему, начинаю вспоминать его рассуждение о золотом и сером мирах... Оно было клочковатым; в начале какой-то философский анализ; слова его забылись... а дальше... А дальше от того, что мне так мучительно надоело сидеть истуканом, я начинаю жаловаться на угрюмую декабрьскую пору, на

то, что замучили кошмарные сны. Я жалуясь на них, а через них и на свою вынужденную бездвижность и даже говорливость...

– Вот, – говорю я, – третьего дня приснилось мне, что сижу я в осенней тьме, в кустарнике сухом, редком, мертвом. Откуда-то с дороги подкатывает автомобиль – треск, плугают лучи фар – это ищут меня. И голос соседа по коридору, пьяный, ругающийся: «петля тебе будет!» Я вскакиваю, ломлюсь сквозь кустарник и, зная, что не уйти, начинаю молиться, вижу перед собой слово «Господи», как столб с перекладной, глаголом – и сияющая тьма сна схватывает меня, уносит от преследующих. И тьма вокруг уже теплая, жилая. Я иду по анфиладе высоких комнат, слышу запах старого резного дерева, которым стены покрыты. Что-то здесь ждет меня – предреченное, страшное! Перед самым пределом этого ожидания, в одной из комнат – высокая теплая лежанка. Я ложусь. И вот уже будто бы утро – дверь скрипнула, белую щель вижу. В щель напоззает женский шепот. Женщина что-то говорит обо мне мужчине – своему мужу. Дверь отворяется, муж идет с портфелем. Сейчас меня обнаружат, сейчас обнажится предел моего ужаса – и, не выдерживая, я с истошным криком бросаюсь сам на идущего и хлещу его по лицу своими брюками. А он, не уклоняясь и, будто не замечая меня, проходит мимо – в дверь...

– Митя... ты еще руку – так... поддержи! – сурово, устало перебивает меня Кашинин. И, отворачиваясь от меня, добавляет:

– Да, довела, вижу, она тебя... Говорил я тебе.

– Слушай, братец, хватит... Ну, ведь сейчас испортишь, – прошу я.

– Хороший вышел портрет. Как всегда, самое лучшее выходит нежданно-негаданно... Чувствую, возьмут его на выставку...

– А то, брат, снится мне, что приехал я на Колыму. И хожу, ищу там приметы детства. Но мир темен, невнятен. Брожу, как в темной комнате, ищу наш дом, знакомых, а все не то, все чужое. И небо кровавоцветное, неживое, в мертвом, как от электросварки, свете. За баракком – отец, голый, на снегу, а снег ночной, серый, как пепел. Отец еще живой, взваливаю его на спину и втаскиваю в барак. Из окна видно кладбище заключенных, оно прямо под окном, там, где наяву – помойка. И сопки, стеной заслонявших небо, под окном нет, путь в это кровавоцветное небо сна открыт... Будто и не было совсем Колымы...

– А ведь об этом же и я тебе говорил... помнишь? – с усилием раздваиваясь: и кистью работая и языком, слова нужные впадают моим подбирая затрудненно – растягивает Кашинин. – Поедем мы с тобой на Колыму. Доедем до той станции... Глянем в окно, а – нос в нос – твой Бумажников сидит, как ни в чем не бывало, как и двадцать лет назад... А как увидим его, так сразу и пойдем... (Пауза). И ехать дальше не захочется.

Я уже не раз слышал это рассуждение. Но снова задумываюсь над ним – нос в нос с самим собой на портрете...

– Демон! Это же демон! – еще до пересказа снов начал я покрикивать со своего стула. Что-то экзальтированное, извилистое, как осьминог в пиджаке, пристально звало меня, напомидало о чем-то с холста... Лицо старое, темное, почти порочное... Хорошо же он меня разукрасил!.. И вот Кашинин, видимо, задетый «демоном», стал потихонечку выпрямлять, охорашивать меня, землистость всю эту могильную солнцем окропил... Что-то у него не получается... А я почему знаю – что!.. Только вижу – портит... А и самому извилистого демона прежнего жалко стало – но и человеком глядеть хочется:

– Напортишь... хватит, а?

– Все, все! – сказал Кашинин. А сам еще хлопотал над моим образом. Видно, что-то ему не нравится и самому...

– Ладно, потом доделаю – это пустяки, – серьезно, с достоинством роняет он, вынимая перепачканную красками папиросу изо рта... – Ладно. Добро...

– Эх, бра-а-т! – говорю я сокрушенно... А он, не отрывая взгляда от портрета, движением автомата распахивает форточку, налетело снежинок из тьмы... «Эх, изменила мне она»... – думаю я про себя, и так-то мне становится одиноко...

– Чу, как воеет! – говорит Кашинин, терзая папиросу у рта разноцветными пальцами.

– Закрой форточку, – говорю я, – холодно...

– Сейчас, – говорит Кашинин, но не мне, а портрету, и не двигается с места.

Я закрываю сам:

– Скоро Новый Год, – говорю снова, – выпьем за новое счастье! – И, схватив свою шапку с головы художника, одеваю, и – уф,

какой воздух свежий, ух, как загуляла метелица в поле! – с удовольствием иду мимо крепких, глазурных сугробов в магазин. Нежная, тихая вьюга задувает снегом зыбкий свет фонаря на столбе. Перед Новым Годом всегда начинается такая вьюга. И укрывает снегом голый город хоть на день, хоть на два, и зима вдруг становится уютной, и звезды – близкими, хрупкими. И сердце, может, больше по праздничной привычке, но чего-то ожидает, томится, и дерево нашей жизни украшается воздушными образами, зыбким подобием стеклянных, сусальных золотых и серебряных таинственных игрушек... Кто их выдумал – ну, хоть самый обычный из фольги шар в лиловых отливах? И как хорошо, что я сейчас выставлю на стол эту запотевшую, холодящую мне под пальто грудь бутылку, Кашинин приставит к ней свою, домашнюю, и мы будем сидеть, радоваться, говорить, что хочешь, недоуменно ругать житейские обстоятельства, а потом пройдет время, и этот вечер станет призрачно светлым, таким, как и все праздничные воспоминания.

Да хоть, конечно, и немного рано мы начали встречать Новый Год, но, наверно, именно поэтому он и станет таким, как те вечера из юности, когда – для чего я это затевал? – поди и сам не знаю – гасил свет в доме и, вслушиваясь в тишину, подкрадывался и зажигал лампадку из синего стекла перед таинственно отливавшим сусальным золотом образом Богородицы. Это было в такие же предновогодние вечера, в метель, стонущую, загулявшую на всю ночь. Из дома – я тогда жил с родителями во Всесвятске – все ушли по каким-то предпраздничным делам, комната в уютных, домашних тенях, теплых от протопленной печки, и, белая кружевами свесов, под белым покрывалом высокая кровать стоит, как большой теплый сугроб. И вокруг меня от тишины, которой не мешает метель, от живого огонька, похожего на звездочку, становится просторно, как на улице. И я с весело бьющимся сердцем неслышно ходил по широким половицам, заглядывал, будто в кованы, темно-серебряные от инея окна, и радовался, что в полях поднимаются высокие, как белые церкви, вьюги, и горит искристо, как брызги шампанского, вихрь снежинок в качающемся свете уличного фонаря. Всмотривался в строгие, живо проступающие сквозь сумрак черты Богоматери, оглядывался, следил, как ходят за мной иссиня-фиолетовые тени, и весь дом теплом

обжитого старого дерева, трепетом стропил и дыханием кирпичных труб о чем-то радостно вопрошал заодно со мной и эти чуткие домашние тени, и живой голос метели, задувшей звезды, вопрошал и замирал в блаженной, безотчетной немоте.

Медленным, особливым скрипом отсчитывая каждую ступеньку, взбиралась по лестнице мать и, дивясь темноте, останавливалась на пороге: «Ты что это тут делаешь?»

Я не отвечал, только улыбался и задувал лампадку...

Заворачивая за угол девятиэтажки кашининской, в черную тень, я так завспоминался, что даже остановился. Потому что холод, уже будто и не уличный, охватил душу. Потянуло черным сквознячком, застыл притворный свет: живое, страстное, охряно-коричневое сияние... И в тех грезах, где все сливается с протекшим днем, и там, где свет и тьма переходят друг в друга, тут ярко мелькнуло милое лицо. Ольга, что ты наделала, Ольга?! Я очнулся... Вспомнил изразцовую стенку с медным душником. Кусок парашютного алого шелка – муж еще женихом подарил. Никчемушный фотографический портрет небритого Хемингуэя в простенке... Тоже, наверно, от мужа остался...

14.

– Метет? – быстро, автоматически спросил Кашинин, и я понял, что пока я ходил в магазин, он снова работал над портретом. Лучше бы уж оставил. Вроде сначала был и не я, а почти «демон» – и мне нравились и железная изломанность костяка, и чернота лица, а теперь больше на меня походит, но что-то я... *начинаю не понимать в животищи...*

– Ладно. Хватит, – повторяет Кашинин и, вскидываясь, смотрит на меня во все глаза, но, чувствую, не видит...

– Ничего, – подбадриваю его, – лишь бы на выставку взяли.

– Это холст старый – девятнадцатого века. Мне его в музее подарили...

Я громко удивляюсь, не верю, щупаю подрамник, а сам представляю, как Ольга пойдет на выставку и увидит меня... Смотри, смотри – вот что ты со мной сделала!..

– Видишь, какой холст? – говорит Кашинин.

– Вижу, – говорю я. – Эх, брат, и неужели мне изменила она?

– Изменила, – повторяет Кашинин, открывая бутылку. – Но я слышу – это еще не для меня, а для **того**, для портрета голос...

Я мужественно помолчал, так, что Кашинину пришлось три раза повторить:

– Хорошо... Эх, хорошо, брат!.. А все-таки хорошо, а? Чего ты не закусываешь?

И только уже после этого наши интонации узнали друг друга в разговоре на политические темы. Но и тут я не вытерпел и вставил довольно удачно к месту:

– Бросал бы ты эту живопись... Что краски? – грубое вещество, как говорит Гегель. То ли дело слово – это сам дух!

В ответ Кашинин напустил на себя молчание, однако, оправившись, встал и, снова надев мою шапку и похаживая перед портретом, спел, сочиняя на ходу, песню про какого-то доброго молодца, который идет по Одессе, а на нем голубая шляпа, голубой галстук, голубой пиджак, голубые брюки и даже голубые ботинки.

Потом вместе мы убрали мой портрет, обратив его лицом к стене. И я сам спел:

Девки к нам,  
Молодушки к нам!  
А старые старушки  
На кой черт нам?..

Метель тем временем улеглась. И я сказал, что если мы сильно опьянеем, то пойдем в поле – эвон, к той колоколенке в Лучинское! – забредем по пояс в сугробы, и снег нас будет держать, чтобы мы не упали. И Кашинину это очень понравилось. И мы даже вышли на улицу, но тут Кашинин стал моим врагом и грозился, что он вызовет милицию, если я поеду к Ольге, и я, содрогаясь от ужаса, твердил, что это – верх нахальства – сдавать меня в милицию...

Дальнейшего не помню, только что-то черновидное, как ночное небо, и бессловесное в памяти. Восстанавливал его потом, когда у нас с Ольгой уже все уладилось, лишь по смехотворным репликам Кашинина.



Двое пьяных топтались у горевшей ярким светом витрины закрытого уже магазина. Кашинин тоже раззадорился, в своем лохматом, с капюшоном, синтетическом полушубке он был, как медведь. Рычал:

– Видите, он туда, к мертвецам пошел! Давайте я его землей натру!

– Кто пошел?... А? Сам ты – пошел... – мотал я ушами шапки. – Эх, Ольга, Ольга... Вот так – гоп-па! – пытался сделать я шаг вниз. Перед нами от магазина спускалась к дому бетонная, обледенелая лестница в пять ступенек... Пальто да и лицо у меня уже были в снегу.

– Смотри, Ольга, что ты делаешь! – показывал я рукой – на звезды, на снег... На весь мир... И плакал от пьяной, черной радости отчаяния.

15.

Сначала меня стал тревожить слух и полностью восстановился, затем осязание... и я из чугунного небытия возвратился в объем комнаты, сразу же догадался, что ночью у Кашинина, потому что не раз уже оставался у него ночевать, и лишь затем окончательно проснулся, почувствовал последствия, обычные после праздничных застолий, и, хотя они были неприятны, чуть было не сказал себе: «Как хорошо!» И тут же нащупал брезент раскладушки и вспомнил раскладушку ту, из Ольгиной комнаты, и мне снова стало плохо... Кашинин посапывал, как младенец, на кресле-кровати, которое все время из-за бортов-подлокотников напоминало мне о гробе. Я смутно представил, как порывался вчера поехать к Ольге в Лучинское и обрадовался, что Кашинин не пустил меня... Такой пьяный, размазанный, позорный, тьфу! А муж бы еще и с лестницы спустил. Я встал, прошел в темноте в кухню, попил холодного кипятку из чайника, прямо из рыльца, посмотрел в синими искрами инея мерцающее окно... Лег снова и проспал до полудня.

Чаепитие прошло в воспоминаниях для меня не совсем приятных, впрочем, тотчас же обращенных в шутку деликатным Кашининым. Но на сердце было и тревожнее, и тягостнее вчерашнего; я не говорил об Ольге ни слова, хотя не забывал о ней ни на секунду. Кашинин все похаживал, поглядывая на портрет; я и о портрете избегал говорить... Кашинин попытался было снова запеть о голубом человеке из Одессы, но ничего у него не вспомнилось – эх, жалко, хорошая

была песня! Каждый был прикован к своей заботе. И мы это оба чувствовали. Заторопился я домой. А вышел – не могу идти. Снег чистый, небо ясное, а будто не понимаю этого. И чистота, и яснота будто раздражают меня, потому что не могут мне объяснить, почему со мной так случилось. Почему? И на людей – чем больше смотрю, тем больше растет во мне этот въедливый вопрос. И есть в нем что-то унижительное для меня, будто на меня личину хромого уродца или горбуна недели – до того я не только что душевно, но и телесно страдальческую свою уродливость ощущаю. Еще, как нарочно, задумался и из автобуса вышел на одну остановку раньше и шел, сгибаясь под этой ношей, – едва до дому донес. И так под ней согнулся, что уже и записку в руках держу – а все сообразить не могу – кто ее написал. Белый листок бумаги и мелкие словечки в одно единственное предложение выстроились:

*«Сомыч, правда ли, что ты пристал к Дельвигу?» Ольга К.*

«Это же она написала!» – казалось во мне, но будто и вне меня, настолько я прежний был непонятен мне сегодняшнему; я действительно не сразу понял, а сначала даже прочитал совсем не то, а будто бы это телеграмма от брата из Челябинска.

В коридор из лифта вразвалку вошел сосед, который четыре дня назад во сне гнался за мной на автомобиле и кричал: «Петля тебе будет!» Хотя сосед еще издали, толстощекий, румяный, заулыбался и сказал: «С наступающим праздничком!» – стоит у дверей с бумажкой, зачем? – подозрительно спросил я сам себя его глазами; и открыл дверь; и увидел Ольгины сапожки в углу, а на вешалке «лисю» синтетическую шубку.

В белой нарядной кофте, красивая и строгая. Только глаза ее смотрят на меня по-новому – я сначала испугался, подумав – жалеюще? – и спрашивает своим свежим, так необъяснимо волнующим меня голосом, чуть неровно, затрудненно выговаривая слова – так же, как тогда, когда читала стихи:

*– Сомыч, правда ли, что ты пристал к Дельвигу?*

Между нами лежала бездна, в которую, как я сам себя уверял, обрушилось все, и, тем не менее, прежде, чем хотя бы спросить ее: «Как ты сюда попала?» – я, внутренне содрогаясь и сопротивляясь, не мог не ответить так, как ей хотелось:

*– Правда!*

– *И ты будешь меня ругать?* – сказала она, отступая на шаг и садясь.

Ключ я ей сам отдал... Что же мне делать? Я перегнул листок вдвое. Уйти?

– *И ты будешь меня ругать?* – повторила она с вызовом, почти капризно.

– *Держись!*<sup>4</sup> – против воли почти шепнул я. И со страхом, стесненно понял, что слова условные кончились... а свои... своих нет!.. Ведь в с е обрушилось и говорить мне больше нечего.....

Позднее, когда я рассказывал Кашинину, как мы помирились с Ольгой, он обмолвился грустно, узнающе: «Я этого ждал». «Чего?» – удивился я. «Чужие слова у них кончились... (Так и сказал: не у н а с, а у н и х). А своих нет. Пора им отходить, туда, к мертвым»... Туда, то есть он явно имел в виду Всесвятск с его старинной библиотекой. Это было время, когда мы с Ольгой думали, уезжать нам или нет из областного города. Хотя с Кашиным не хотелось расставаться. И теперь, тридцать лет спустя, меня тревожит фантастическая, смутная обмолвка его.....

– Ну, что ж, иди в свой кабинет с изразцовой печкой... Под столом у тебя войлочные туфли... – заговорила она, отворачиваясь. Сметется надо мной?

– Да я же – Сомыч, у меня нет такого кабинета. Я же не Булгарин! – глупо выскочило из меня... – Это ты говоришь за Фаддея Венедиктовича. И я увидел, как Ольга трудно сглотнула... Плачет?

– Оля, я же Сомыч! – бросился я к ней и, встав у дивана на колени, обнял ее, она отстраняла мои руки и отворачивала лицо, и не показывала мне глаз, даже закрыла их, когда я, встав, взял ее лицо в свои ладони...

<sup>4</sup> Слова Ф. Булгарина... Такой разговор между Фаддеем Булгариным и Орестом Сомовым действительно был, как свидетельствует Николай Греч в журнале «Русская старина». 1871, том IV. Булгарин упрекал Сомыча за то, что тот стал сотрудничать у Дельвига в «Литературной газете». После этого разговора О.Сомов покинул «Северную пчелу» и пристал к Дельвигу, издававшему «Литературную газету».

16.

Прошло около двух лет с того дня. Ольга – моя жена. Мы уехали из областного города и живем во Всесвятске в старом деревянном доме вместе с моей матерью. Ольга – беременна, я начинаю чувствовать, что мы вступаем в полдень своей жизни. Тогда, прямо истлевая в беспорядочных помыслах, не мог я, конечно, представить, что все неожиданно так переменится к лучшему. Но какая-то подспудная, непресекаемая надежда заставляла верить. И вот теперь, когда выгорело в памяти все случайное, те предновогодние дни и даже моя болезнь, внезапно приключившаяся перед самой свадьбой – все стало, как и хотела моя та надежда. Наше прошлое, это внутреннее имущество, теперь, когда Ольга готовится к таинственному жизненному событию, мы и перебираем и рассматриваем. И она, несмотря на свою скрытую тревогу, весело укоряет меня: почему ты не верил моим словам?.. Что же это были за слова?.. Все те же, н а ш и, особые слова, из мирочувствия. Увы, портрет мой не попал на выставку, мы оба с Кашиным забыли о нем; виделись все реже. Я даже избегал его, догадываясь, что он не одобряет моей женитьбы. Потом болезнь моей матери и наш переезд во Всесвятск.

А недели две назад после рабочего дня зашел я в библиотеку, которой здесь заведует моя жена, чтобы пойти нам домой вместе. Ольга попросила подождать меня минут пятнадцать, и, пока она там, в кабинете за зеленой шторой обсуждала со старичком Крестьянниковым, как и что переставить на высокой полке со старыми книгами, я от нечего делать только взял один из многочисленных тонких журналов, как увидел на столе от Кашинина пакет, который я тут же радостно открыл – и в глаза мне хлынула акварель. Вроде так себе, ничего особенного, запереливалась оттенками темной охры во мне ленивая мысль. И вдруг судорога узнавания прошла по ней, и цветная бумага точно преобразилась – я узнал свой... *тот портрет!* И, не поверив, дернулся взглядом к жирному шрифту подписи: «*Встреча в Сибири*».

С иссасывающим душу любопытством глядывался я в портрет. Конечно, по внешности это был не я. Акварель вся изнутри точно заволакивалась серо-золотым электросветом вагонного нутра, и, казалось, прямо в толщу стекла было вживлено лицо лысолобого человека в кителе; в бездумной позе чувствовались и благодушная отрешенность

едущего от законного мира, и та механическая значительность, которой всякий, летящий в железном ящике пассажир, видится значительнее зеваки у железнодорожной насыпи. Таким изображенный облик был, пока я не угадал свой портрет в нем. А как угадал – вот тогда весь облик, точно судорожно сдвинулся, дернулся – точно поймав глазами кого-то знакомого из окна своего вагона. – Встреча! И судорога узнавания, прошедшая по моим чувствам, и была – облеченной в краски позой сидящего у окна «картинного» человека, который был прежде мной на портрете.

Бумажников? Неужели это наш Бумажников?! Это так похоже на ту выдумку, какую, варьируя, не раз рассказывал мне Кашинин. Странно, рассказывал мне – мое... Мы, брат, с тобой едем... Вдруг ты кричишь: Бумажников! Я говорю: ты что – прошло двадцать лет! Он уже должен быть седым инвалидом... И тут мы так испугались, что поворотили с той заколдованной станции назад. Да и денег на билеты дальше уже не было... Как всегда, брат, подъялдыкивал хитро Кашинин, мотивировки в таких случаях самые материальные...

Я и затосковал по Кашинину, когда вспомнил его рассказ. И какая-то серая старая тревога – вновь! Подумал о нашем с Ольгой будущем; и лишь тогда принялся за письмо художника, написанное мелким старательным почерком. Он писал, что собирается обменять квартиру и уехать на Дон; что любит и хранит листки нашего миро-чувствия, давал почитать их и Горынычеву.<sup>5</sup> Его я два раза встречал у Кашинина, привозил эмигрантские книги и журналы из Москвы, которые мы по очереди, за ночь, просматривали... Я снова расправил на столе лист с акварелью... Нет, это не я. Ничего не осталось от того портрета. Так, померещилось на радостях... и не в красках, а в цветовых отливах своих же собственных мыслей... А когда подошла Ольга, уже одетая, я зачем-то закрыл лист будто бы рассеянно барабанившими пальцами.

Но она прочитала издали – Кашинин!

<sup>5</sup> Горынычев – религиозный поэт. Был убит неизвестными в Подмоскowie в марте 1989 года. С перебитым в двух местах позвоночником всю ночь пролежал у железнодорожной платформы под откосом, на снегу, и к утру захлебнулся собственной кровью. Одет был в пальто и замшевую куртку, оставленные ему уехавшим на Запад писателем Максимовым...

Я, кивнув любопытно, убрал руку. Она медленно, не изменяя выражения, смотрела на «Встречу», и в ее повлажневших в последние недели глазах затемнилось, как мне показалось, недоумение.

– А интересная вышла... работа, – чуть запнувшись перед последним словом, быстрее обычного сказала она. – Ну, о чем же твой друг пишет?... Я чуть не забыла, ой! Приходил сегодня писатель и драматург Шитиков. Он был шапочно знаком с моим бывшим мужем. Книгу свою подарил в библиотеку с автографом. И тобой интересовался... Времена-то ведь меняются, – нарочито солидным тоном передразнила Шитикова, пригибаясь мило к моему плечу. – Да, увидел у меня этот пакет от Кашинина. Вспомнил, как вы к нему вдвоем приходили за Ивнякова хлопотать. Я, говорит, и не знал, что он женился. Это про тебя...

И мы пошли домой. Мы подымались в уличную гору деревянного заведеревшего под уютным снегом городка, и Ольга, запыхавшись, весело говорила о Кашинине, предполагала, как он там будет, на Дону, а я молчал, потому что достаточно мне было и ее слов, лишь изредка перебивал ее: «Осторожно, здесь скользко»... И, несмотря на новость о Кашинине, новость приятную, какая-то тревожность, неясность привязалась ко мне. Коснется и – нет ее... И – снова... И я незаметно стал даже шагу прибавлять. Но и в сени вошли – она за нами, и книгу раскрыл у лампы – она со мной села. Послушал, как мать Ольге о своих родах уже в который раз, но все с новыми подробностями рассказывает – вроде поотстала. А Ольга вязала плед из цветной шерсти. Это увлечение у нее появилось во время беременности. Я засмотрелся на ее пальцы, попавшие в плен мелькающим спицам, на вишневый клубок. Ольга чутко уловила взглядом какую-то тень в моей сумеречной задумчивости. Вышел покурить в холодный коридор к окну промороженному, серебряно-тяжелому. И стал думать так. Вот я получил письмо: Кашинин – художник. Ха – письмо! – будто бы он и до письма художником не был... И обиделся... Не на то, что Кашинин – художник. А на то, что муж у Ольги был тоже художником. Ольга сказала мне о нем лишь несколько слов: «Он – художник, плохой человек»... Но, конечно, не из-за того я обижен, что он был художником. А из-за того, что он – муж, хоть и бывший... Но правда о ревности – так я сам называл свою мысленную выработку за минуты курения – правда эта ничего не объ-

яснила мне, не успокоила, напротив... Да и зачем мне она, эта правда? Лучше бы ее не было. Вот и картина тоже – правда!

– Эге-ге, – растворив серебряную створу в стылый, пристающий к осязанию воздух, пробормотал я... – Надо терпеть... Надо не поддаваться... А чему не поддаваться? – вряд ли знал...

Нет, ни к чему человек не привыкает... Опять в памяти выныривает призрак в коричневом пальто, но какая-то егозливость появилась во всем облике... Разве он не ночевал? Почему Ольга сразу забеременела? Стыдно, страшно, позорно думать такое. И точно темным ветерком потянуло. Я не могу объяснить это одним ревнивым, расхोившимся воображением. Холод охватил застылым, притворным светом... И возник из сияющей тьмы... или это сама тьма приняла женский образ? И на миг сверкнуло знакомым, победным и прекрасным ликом... приникло к устам... Как стихия, или призрак души твоей... Вместо светлого лика Богородицы, как у Ивняка...

А все равно Ольга К. моя! Она есть, есть, есть! Ну, ладно. Существуют могучие клетки из мысленного железа, куда человек загоняет зверей, именуемых «обстоятельствами». И снова можно жить спокойно и даже угостить зверя куском мяса, даже и от себя отрезать. Кто кормит – тот и хозяин... Клубок из крови, ночи, охры, снега и полуявных образов... Почему же Кашинин предупреждал велеречиво, что любовь и смерть, что, мол, брат..... Ну, ладно!..... Хватит!.....

17.

.....Белый, дымчатый свет заполнил нашу комнату, и все очертания стали в ней мягкими, все плоскости – матовыми, и мне казалось, что свет этот исходит Ольгина одежда, и он становится вся мягче, живет от сумерек. Глаза у Ольги стали темными, точно сгорели в сухом огне – обиды ли, гордости – не знаю. Я разве виноват в том, что у нее провел хоть и «просто так» ночь мужчина? И разве я не справедлив в своей ревности – что мне до того, что ему надо «оформить» какую-то там бумагу, пусть даже и для развода?

Но не мог я не поверить Ольге, не мог не верить ее белой одежде и этим тонким, мечтательным сумеркам, вставшим в комнате призраком счастья. А ревнивые подозрения делали это счастье жгучим,

то охватывало меня ознобом: а может? То отпускало: нет, не может, не может быть! И, как льдинку в винном бокале, я губами отталкивал эту мысль – и целовал ее темные глаза. Как я глупо всполошился, вспомнив, что у меня в хлебнице нет хлеба еще со вчерашнего дня, и как я восторженно повторял ей, что пойду в магазин за хлебом не для себя, а уже для нас! И почти бежал бегом обратно в расстегнутом пальто, пугаясь, что сейчас я приду, а Ольги – нет. Но она открыла мне дверь! А когда мы, перебивая друг друга, заговорили о том, что надо ставить елку, и я начал выкладывать из коробки игрушки – я, наверно, уже и не верил в то, что случилось 28 декабря. То есть 28 декабря – было, и могло в этот день нечто случиться, но только не со мной – мало ли разных людей по улицам ходит?!

Разложив на столе игрушки, снова выключили свет и сидели тесно рядом.

– Ольга, зачем ты меня называешь Сомычем? Мне страшно...

Я замолчал, чувствуя, как внутренне она удивляется: почему?

– Я вообще плоховато знаю его сочинения. На память из прозы его знаю только одну фразу: «Звук токал расстановчато». Не зови меня Сомычем!

Она слушала, и мне не надо было ее «почему» вслух – и у меня самого за моими словами билось свое «почему», тоже ей внятно.

– Фаддей Венедиктович, плотно подстриженный, такой осадистый, прибежал на своих коротких ножках домой и стал письменно громить Дельвига... И обрюзглый, и крикливый, с мокрыми толстыми губами, а все ему до пятьдесят девятого года жить! А Сомыч стоит на Невском. Чуть нас с тобой постарше, только пригрозил уверенно: держись, Фаддей! Я тебе дам – «гнать Сомыча!» А уж через три года – умер. Вот тебе и «держись»!.. Ольга, мне страшно, не зови меня Сомычем... (Почему, почему, почему я умру?)

– Но ты слышишь. Как это хорошо, мило – Со-мыч!.. Сомыч, правда ли, что ты пристал к Дельвигу?

– И Дельвиг умер! В тот же год, когда Сомыч пристал к нему...<sup>6</sup> – И целую ее нарочно долго, чтобы не говорила мне про Сомыча.

<sup>6</sup> Здесь, в разговоре, Горелов округляет даты. Дельвиг умер немного позднее. Уточнить другие даты и подробности разрыва О.Сомова и Ф. Булгарина можно в литературной энциклопедии.

Я курю в темноте, глядя на красный уголек сигареты – мне так хорошо, будто это целый камин где-нибудь в огромном романтическом кабинете с резными карликами, поддерживающими полуинт лестницы, уходящей к громадящимся тусклым золотом корешков книжным шкафам. И я – печальный, молодой хозяин этого кабинета и именно в тот год, в тот час, когда думать можно только о любви и смерти.<sup>7</sup>

– Ольга, если ты даже не будешь звать меня Сомычем, я все равно умру... Или ты уйдешь от меня. Ты такая красивая. Тебя, даже если и захочешь не любить, все равно это будет любовь...

Она кладет голову мне на плечо... Я, затаивая дыхание, прислушиваюсь – молчит... И кабинет наполняется кольчатými, багрово вздрагивающими у камина волнами звуков...

– Ты слышишь – кто-то стучит? – спрашиваю я.

Она отстраняется, кладет руки на колени. И мы долго слушаем, как на весь коридор шумят бессмысленно веселые хмельные голоса – гости соседа.

Она говорит серьезно и нежно:

– Дон Кихот воевал с ветряными мельницами, кабатчиками, блудницу принимал за принцессу... Как бы тебе это объяснить?... Все-таки и блудницы, и кабатчики – это еще жизнь. Ты же воюешь с тем, чего нет. Это, конечно, не значит, что то, чего нет, не существует... Ты воюешь со мнимыми величинами... Вернее, идешь у них на поводу... – Она уже знала про постановщика из мирочувствия и говорила убежденно: – Не ставь трагедию! Это правда, что тебе приснился такой сон? Не думай, не пытайся объяснить. Не борись с постановщиком, как Дон Кихот. Неужели ты не знаешь, что все сны про цирк, театра или какие-нибудь фокусы – прямой обман, заведет он тебя в блудную, как говаривала моя бабушка.

<sup>7</sup> В гореловских записках есть длинная выписка: «Когда догорающая глыба каменного угля... и дальше: «Уже молоток трижды ударил по звонку, пробило три часа моей жизни!... Серебряный звук троекратного удара распырился по красному воздуху... я видел этот звук собственными глазами. ...разбегались по этому красному воздуху бесчисленные дрожащие круги, белые тонкие обручи летучих волн»... Похоже, Горелов имеет в виду хозяина этого кабинета. Это все из той же повести О. Сенковского «Любовь и Смерть». Библиотека для чтения, 1834 г. Том 2.

Я:

– Но это больше похоже на обезображенный храм, Ольга...

– Цирк, театр – это и есть обезображенный храм, а поэт – священник в нем, – убежденно, уверенно подхватила Ольга. – Опыление мнимыми величинами – это болезнь нашего времени. Мир серый и мир золотой, самоанализ, оборачивающийся беспорядком помыслов – это мнимые тени кабатчиков и цирюльников. Болезнь по красоте. По любви, по мне... Это ты ждал меня. Это ты тосковал по мне! – Наклонясь и обнимая меня, торопливо дошептывала она, и слова ее ударили теплом из уст в мои уста:

– Не ставь трагедию... Теперь уже я с тобой. Что тебе до того, что ты умрешь, Сомыч? Вызванного тобой серого мира уже нет. Вообще – нет! Ну, расскажи мне, какой он, где он, этот мир, которым вы так долго рассуждали с Кашининым?

Это и были Ольгины и мои слова... Я часто вспоминал их в больнице, куда попал сразу же после нашего примирения. Воспаление легких – нагулялись мы тогда с Кашининым! Когда меня выписали, я, не стесняясь, засмеялся и побежал прямо задворками, чтобы сократить путь. Там есть лаз в ограде, подсказали мне. Я не сразу отыскал эти ворота к своему счастью; сначала – просторные окна приземистого строения – какое-то бюро по труповскрытию. Потом я уперся в узкую траншею – что-то в ней вяло дымилось, а рядом грязно синела, краснела, темнела куча драной, резаной одежды и обуви, и было много закуржавевших кирзовых сапог, и один автомобильный коврик. И куча безобразным языком истерзанных форм и цветов гнусавила о гибели в автокатастрофах своих хозяев. И, глядя на них, мне вспомнились опять обезображенный храм, оплывшие огарки с замурованными силуэтами образов и изрубленной, оземленелой радугой под куполом. Самозванец-постановщик со своей обманной трагедией...

Через год Ольге какая-то прежняя знакомая прислала письмо – бывший ее муж, выпивши, упал с дивана виском на горлышко бутылки и умер.

18.

Почему же мы переехали во Всесвятск? Потому что квартира Ольги принадлежала музею, а моя – мне; и в музей-усадьбу, то есть к Ольге, меня не брали... Она переехала в мою комнату, в город, но здесь на работу, какая ей нравилась, ее не брали... Потому что вскоре захворала моя мать и стала писать Ольге письма и звать меня через нее – на родину. Потому что, когда мы приехали к матери в гости, радуясь покою этого городка, где гулко, как под огромным куполом, кричали на высоких березах уже почуявшие весну галки, и когда я по лицу матери торжественному и по голосу догадался, что она готовилась весь день; и когда она сказала нам: «дорогие дети, здравствуйте» – Ольга, не смущаясь, поцеловала ее, а меня спросила: «Почему ты мне никогда не говорил, что у вас лестница с точеными балясинами? Я почему-то всегда думала, что у тебя дом – такой!»

И мать праздничным, протяжным, как положено на народе голосом, выговорила, что дом перевезен полвека назад с того берега реки в 1935 году и что девчонкой она ходила, любовалась на дом: он был еще красивее, с балконом, и доживала в нем век какая-то сумасшедшая барыня, которую бросили, наверно, дети родные. Я показал Ольге дубовую лавку и дубовые подоконники, и она вычерпала из корытчек воду, набежавшую с отпотевших стекол, и мы все толковали о доме, пока мать накрывала на стол, и глядели на черный, радостный, резкий свет зимнего бора за волнистым сугробным полем.

Мы пили вино, я то и дело вскакивал, выходил гулять в коридор и все больше узнавал, как старательно мать готовилась к нашему приезду. Она, видимо, даже и время застолья рассчитала вперед, потому что неестественно, как в старом кинематографе, всплеснув руками, вдруг запела нам про доброго молодца в красной шапке с кистью. И я снова, как в колымском детстве, увидел ее, эту смертную шапку, и голубую, дымчатую нематериальную реку. И будто вошел в нее, растворился чувствами в ее голубой нежности, и опять с того, с дальнего берега, подпевал нам другой добрый молодец в серой рубашке-косоворотке и алом кушаке, мой отец, каким он привиделся матери во время крещенского гадания в золотом кольце, а она стояла на ближнем, нашем берегу – молодая, в фотографически черном длинном платье.

Ночью мы слушали чуткую тишину дома, и я досказывал Ольге слова, которые она бы услышала от отца: я говорил о Севере, о черном чемодане, о золоте – и слова звучали странно, оторванно, будто камешки влачились нематериальным течением по невозможному дну песенной реки: «шлих, проходнушка, тамбур, чернушник»...

Когда я проснулся, Ольга уже встала. Мать сказала, что ко мне пришли какие-то двое, кто – не знает, уже седые и по возрасту тебе вроде не товарищи, а говорят, что знают тебя!

Гость стоял в кухне спиной ко мне, нагорбившись и отвернувшись в угол, где висели иконы... Но я и с затылка в серой, редкой седине узнал его и замер от трепетного почтения. Восхищенно смотрел я на его ветхую, потерявшую цвет одежду... Я хотел прикоснуться к ней и побоялся, что меня ударит током невежественности. Потом спохватился, пожалел его, наверняка, он голодный... Я не находил слов для него... все мои слова и всех наших знакомых – были не те...

– Фаддей Венедиктович, – сказал я.

Он, полуобернувшись, угрюмо засутулился...

Спросить о Пушкине – вдруг обидится: «Решил Фиглярин, сидя дома»... Спросить о войне двенадцатого года – опять нельзя: поляк, воевал против нас...

О чем же спросить?.. О, как же я не догадался?!

– Фаддей Венедиктович, мое самое любимое ваше сочинение о том, как во льдах замерло посольство царя Алексея Михайловича и как один посол – оттаял и из семнадцатого века попал к вам, в Петербург...

Только нахмурился. Еще ниже опустил голову... Жалко... Как мне его жалко! Ему далеко за шестьдесят... Или за сто шестьдесят?..

А Ольга в большой комнате втолковывает горячо, обещающе. Исхудалый, скуластый лик Николая Алексеевича Полевого кивает ей в ответ: голос тонок и слаб, очи – немощны, во впадинах своих, как ядра в орехах.

А Фаддей Венедиктович даже говорить со мной не хочет.

– Оля... Оля! – зову я.

Она подходит и шепчет:

– Они ищут работы. Ты говорил, что в здешней районной газете у тебя редактор знакомый, Воронов Виктор Иванович... Булгарина,

я уверена, возьмут – он же издавал газету... А за Николая Алексеевича я сама похлопочу.

И мы повели их устраивать. Снова под гулками, высоко кричавшими галками по деревянной уездной улице шли мы, и знакомые приветливо здоровались со мной и с ними... А мне их так жалко, так жалко было, и я корил себя, что не осмелился предложить им еды... Сколько лет они пролежали не евши? Особенно старика Булгарина было жаль... Я представил его в редакции.

– Что же, – сказали мне, – возьмем сразу завотделом сельского хозяйства. Сейчас сразу пусть едет в колхоз.

«Одет больно легко, простудится в командировке», – подумал я и выскользнул в коридор, чтобы не видеть, как он будет приживаться... Не выдержал – оглянулся. Булгарин стоит и смотрит на зеленый телефон.

– Оля, ты сказала редактору, что Николай Алексеевич не рядовой сотрудник, а – журнал издавал?..

Я трепетал перед ними... Но теперь, когда они случайно оказались в таком положении – воскресли? Были воскрешены? Проснулись? – и дело коснулось куска хлеба – я ничем большим им не смог помочь...

19.

Мы сидим на диване под фикусом.

– Опять мнимая трагедия, опять мирочувствие? Ну, ладно. Давай, разворачивай свой сон, – милостливо улыбается Ольга: – Давай. И так, мол, стали они работать. И все люди во Всесвятске к ним привыкли. И даже говорили: да мы и прежде слышали о них! Они из Москвы писатели, мы даже вроде и в журналах что-то ихнее читали!..

Ольга смеется, наклоняясь низко, почти падая лицом в колени. В комнате становится хорошо, радостно от ее смеха.

Мать моя, глядя на нас, тоже улыбается. Она никогда не слышала ни про Булгарина, ни про Полевого и улыбается неуверенно, думая, что они – наши знакомые, такие же, наверно, молодые, как ее дети.

Когда мы вскоре уже твердо решили переехать во Всесвятск, и я сказал: «А где же я там найду себе работу?» – Ольга вспомнила про мой

«музейный» сон: «Если уж ты решился хлопотать в редакции за Полевого и Булгарина, то за себя-то, наверно, похлопочешь?» К счастью, с Виктором Ивановичем я был действительно, а не только во сне, знаком. Недавно он выиграл автомобиль по лотерейному билету. Он взял меня в редакцию, и года три я по-газетному тиранил и корежил слова, а тут подвернулась спокойная должность – заведующий пунктом проката. Во дворе у деревянного амбара, где до революции молала зерно паровая мельница, приземистый, кирпичный домик – бывшая контора. Резиновые лодки, пылесосы, детские коляски, телевизоры. Вот я тут и сижу, выдаю их по квитанциям... Как постановщик выдавал напрокат образы – все не идет из головы у меня тот чудной, предновогодний сон.

Ольга некоторое время работала на инженерской должности в комбинате коммунальных предприятий, и весьма успешно.

Однажды она пошла в библиотеку. И час, и два, и три – все нет Ольги. Я не утерпел – пошел за ней. И уже вместе просидели, проговорили до темного часа со старичком Крестьянниковым, тем самым, школьный учитель которого во время студентства своего в Париже погнался с кулаками за дряхлым Дантесом. И старичок Крестьянников несколько раз привставал со своего стула и, поклониваясь седенькой головкой, говорил:

– Благодарю вас, – то есть Ольгу, – это просто настоящая лекция!

Торопились мы домой в чутких, нежных апрельских сумерках, робкий ледок живым звуком всхрупывал под ногами, мешался в наш разговор, и живая весенняя голость земли отзывалась ему из темноты. И Ольга, помолчав, сказала:

– А ведь правда, что без меня у Крестьянникова с музеем ничего не получится? – и засмеялась, блестя глазами и находя мою руку.

Когда я впервые увидел Ольгу, я не осмелился даже заговорить с ней. Она сама позвала меня: «Помогите же мне!» Я подозреваю, что она нарочно приручала меня к себе и была нарочно доступной, чтобы я поверил в то, что могу любить ее...

Имя ей придумали еще до рождения: «воскресение» по-гречески – Анастасия. Ольга знала, что родит девочку. Ей уже пол-

тора года. Дашь ли ей куклу или показываешь картинку в книге, сначала спрашивает: «А где у нее (у него) газа?»

Выходные с женой у нас в разные дни. Я их просиживаю с дочкой дома. По вечерам допоздна читаю, а утром долго не могу очухаться. Лягу на диван и засну. Она ползает по мне, взбирается на углом выставленные колени, как на горку, и съезжает на грудь, катается. А я уже сплю. Вдруг чувствую оттуда, из сна, странное: кто-то мне, поднимает веки, открывает глаза. Очнусь разом и вижу такое, вглубь, в меня устремленное, изумленно сосредоточенное лицо. Оно наклонилось надо мной и заглядывает, как в таинственный колодец. А ведь как и меня в детстве тоже волновало: какие глаза у людей, когда они спят, что они видят там, под веками, во тьме и свете своих снов?

20.

На краю Всесвятской земли, в сухом, песчаном ее углу стоит у зеленого пруда орда татарника да крапивы, кирпичный бой, тлен, оземленелые гнилушки – вот и все, что осталось от старинного гнезда богатого барина, книжника и вольнодумца, два века назад прикатившего сюда из странствий, как внешних, так и внутренних. Сосны, сухие овраги да сизая даль полей, точно взвешенных в воздухе у вечернего горизонта... Знакомец Радищева, муж по летам. И по-домашнему нестрашно, будто нечаянно уронили старинный серебряный поднос с прибором, раздался в ноябрьскую ночь выстрел в его кабинете. На столе торопливо исписанные листы о «древней ночи вселенной», тень которой уже ложится на мир «в нашем, осьмнадцатом столетии; и что «дух засыпает», и «жизнь принимает образ сна и начинает метаться яркими, бессмысленными прыжками, как мечтательные сонные видения». Впрочем, рядом же строфа из оды, где атомы пляшут и поют, и уподобляются хороводам прекрасных поселянок, и дарственная на волю своим крепостным, и: «прощайте, мои верные помощники, книги!»; и завещание сжечь всю библиотеку, поскольку «она здесь все равно никому не пригодится».

Крестьян на волю отпустили, но книги не уничтожили. Родословное древо вольнодумца – или «родовая», как говорят здешние крестьяне – уцелело новыми летораслями, впивавшими при-

зрачные лучи с сего мысленного неба. Прошло еще сто лет, и наступил июль, и где-то, прямо за дощатыми заборами, за огородами окраинной всесвятской улочки жалостно тлел вишневый, низкий закат. И так не хотелось слышать, как в ночную тишь кабинета по купам тополей будет тянуться странная, нездешняя, не из июльского, цветущего, шелестящего рая звуков – толстая, угрюмая струна. Правнук вольнодумца, он умер от чахотки в двадцать семь лет малоизвестным литератором, основавшим во Всесвятске лучшую в России провинциальную публичную библиотеку.

Ольга открыла книгу и показала мне его фотографию:

– Все-таки и завещание самоубийцы в части книг было исполнено, хоть с опозданием, – улыбнулась она.

– Почему?

– Потому что «книги исчезли неизвестно куда» – так написано в одном современном солидном научном издании. Сожгли или сдали в макулатуру после революции...

Старичок Крестьянников ушел на покой.<sup>8</sup> Ольга стала заведовать библиотекой, и вместе они ездят теперь, собирают из сырых камней разных городских подвалов старинные книги. Конечно, уж всей усадебной библиотеки не соберешь. Но хоть бы памятник – музейную комнату.

А ведь это Крестьянников когда-то рассказал поэту Ивнякову, как артель богомазов расписывала церковь – забыл, в каком селе – и вот один из них обманул девушку. А когда начал писать образ Богородицы, как стал вызывать глаза, то вдруг упал с лесом и разбился. «Ты бы, Саша, сочинил об этом стихи... Что он там увидел, а?» – говорил Ивнякову Крестьянников.

Я вспомнил об этом, когда Ольга принесла мне серенькую брошюрку Крестьянникова, изданную лет пятьдесят назад: «Рассказы старожилы Всесвятского края». Он хотел записать всю живую крестьянскую память. Но удался только кусочек. Слова, как расписные глазурные изразцы. Прошли образы причудливые, низкорослые, захватившие много простора, как болонистые сосны с боровой опушки, косолапо ввинченные в небесную ясность... Барин, завещавший все

<sup>8</sup> Анахронизм. Крестьянников умер за три года до переезда Горелова в районный город.



имение своему дворовому, Личарде верному. И дворовой, зарубивший своего барина... А дальше и более прямой и сплошной людской лес – с разговорами о стародавнем житье-бытье, о купцах, об электричестве.

Изоцренная мысль книжника нашла бы здесь семя нашей печатной словесности. И подивилась бы сама на свою находку: как это – и урожай уже собран, и семя все еще – целым-целехонько. Малоприметным выглядел лишь рассказик о богомазах: с направлением, что, мол, и они выпить любили и погулять с девицами.

Удивительно, что я эту брошюру увидел впервые.

– Чего же мне Крестьянников ничего о своей книжечке не говорил? – сказал я Ольге. – Ведь в ивняковской поэмке у той девушки, с которой богомаз писал образ Богородицы, был, знаешь, какой лик? Да помнишь, я тебе читал? Выведи ей лик большой, как осень: с листопадом в солнечную просинь. Выведи ей очи, словно сад: в глубине притихшей и тоскливой только две торжественные сливы под ветвями гнутыми висят?... Ивняков все удивлялся, как поэма у него застопорилась... Мы об этом тоже толковали с Кашининым. Когда богомаз стал этот лик на стене вызывать – точно темным ветерком подуло. Холод схватил, застыл притворный свет: живое, страстное, охряно-коричневое сияние. И тут из сияющей тьмы, из самого вещества... или это сама тьма приняла женский образ? – протянулись к нему темные уста. Как стихия, или призрак души твоей – страстный образ души, сама она зовет освободиться из вещественного плена, зовет, и вдруг... Тьма, темный, темный лик! Черная богородица над всеми... Черная богородица – темная душа вещества, мать земная всех образов замурованных, развоплощающихся в ничто...

Я увлекся воспоминаниями о нашем мирочувствии. Это было в субботу, Ольга сделала уборку в доме, и мы, оставив дочку с бабушкой, пошли, как обычно, прогуляться. И февраль, и начало марта теплыми были, с дождями, с талым снегом и без солнца. С высоты глинистого обрыва берега далеко видать. Волга уже чистая, только у закраин, по берегу, лед. На той, заливной стороне, в устье, Юхоть еще переходят по льду смелые рыбаки, вода серая, тусклая, неотличимая от такого же серого льда, и кажется, что люди переходят Юхоть, как посуху. Но в этом смутном речном просторе, оказывается, есть свои тени и глубокие отражения. Слева, у поворота к Охотину вода, как черный лак,

кайма его поперек Волги зубчата – от темного соснового бора. В этом черном лаке бледно отражаются яйцевидные, серо-зеленоватые, редкие купы кустов с острова. И напротив бульвара – полоса черного лака по серой, тусклой призрачности воды – отражает тот берег с лесом. А середина перед нами – бледно-серая, пустая, но еще умудряется отражать тусклые, свинцовые, плохо пропечатывающиеся ямы облачного, глухого неба. А по правую руку, дальше, к повороту у Поводнева – вода пропадает, и начинается само это призрачное, в брезжащих полосах дымки глухое небо, освещенное с горизонта – там река сливается с небом. Если пойдешь – то будто по воздуху. На Волге нет течения, полоски льдин плоские, как клочки газетной бумаги, стоят уныло на месте – не мешают вокруг отражениям облаков. Мы остановились над обрывом, под метлистым громадами сырых, старых берез против дома Крестьянникова и опять заговорили о его брошюре:

– А тебе не приходит в голову, – сказала Ольга, – что поворот этого сюжета, ивняковского, подсказан тем же господином хорошим? – Она так понятно посмотрела своими ясными глазами, что я сразу понял, кто – этот господин хороший. Я, действительно, все еще иногда вспоминал про самозванца и то отрекался, то снова жалел, что отказался от его подсказки... Неуверенно спохватывался: он бы продиктовал, а я бы записал, как поставить трагедию.

– Тому богомазу привиделась темная богородица, – заговорила она неторопливо. – Ее-то и поджидает самозванец изо тьмы обезображенного храма, чтобы развоплотить все хранилище образов, всех нас, всю Россию, весь мир. И вот, представляешь, в храм входит высокая госпожа в темном, на лице ее покрывало. Постановщик встречает ее, радуясь грядущему оплавлению мира... Госпожа откидывает с лица покрывало, и вместо глиняного, темного, сияет чудный лик Богоматери. Самозванец в ужасе заслоняется от ее света руками и бежит прочь. А заключенные в сияющее вещество образы оживают...

Волосы у Ольги после родов закудрявились сильнее, она отстала их по плечи. Я тихо удивляюсь, находя в лице ее что-то новое. Она стала спокойнее, домашнее, милее, настоящая матрона, как сказал бы приметливый Кашинин. Пальто на ней новое, цвета светлой охры, с модными, крупными пуговицами. Я, мечтая, люблю представлять ее перед собой, любовно рассматривая. Большие глаза ее черничные

ясно, ласково посветлели. Разве эти глаза – Ольга? Эти русые, красивые волосы. Волосы... А где Ольга? Нежная, в какой-то белой смутинке кожа лица... А где же Ольга? Эта грациозная, стройная шея. Глаза, волосы, лицо... А Ольги нет! (А что же есть? Есть хотя бы женщина. Но если приглядеться, то и женщина окажется – не женщиной)... Ольга – не Ольга! Единовидно Ольга есть, и Ольги нет... Имя теряло смысл, отступало куда-то, обнажая ее образ... Тогда в поисках имени я представлял других Ольг... Вот желтоволосый, круглый, с румянцем, тоже синеглазый лик – как медальон на фоне тьмы времен. Княгиня древнерусская Ольга. Вот храбрая девушка Ольга из повести Алексея Вельтмана «Ольга»... Заведующая читальным залом Ольга Павловна из нашей библиотеки... Так нанизываю, как кольца на ожерельную нить, имена Ольг. И тешусь, пока не подмечу, что у образа моей – локоны что-то уж длинноваты, как у королевы... Спыхвачусь: Ольга, это ты? И она, точно встретившись со световым лучом смысла, повернется ко мне из мысленной бездны... Снова – она. Снова – с именем, моя Ольга!..

– А лик у нее, у освободительницы образов, как у тебя, Ольга! – И чуть засмуцавшись рванувшихся так, неясно что-то яркое отразивших моих мыслей, поправился: – Такое уж у нас, Оля, с Кашиным мирочувствие...

Давно я не видал Ивнякова. Тоже вернулся на родину из города, работает в сельском клубе. Женится. Сетует, что известный у нас писатель и драматург Владимир Дмитриевич Шитиков помог ему маловато. А тот долго не приезжал, болел, делали операцию. Лицо худое, темное. Я почитал ему в хмельной час свои записи про Колыму, выпуская, разумеется, все, что касалось жены. Останавливался он у наследников Крестьянникова. Сам Иван Константинович уже умер. Деньги, накопленные на похороны, якобы отдал он на хранение краеведу Тусклякову. Завещал ухаживавшим за ним, своим квартирантам: «Деньги мои у надежного человека. Как я умру – он придет и отдаст их вам». Но Тускляков не явился. Квартиранты, которым подписал дом Крестьянников, схоронили его на свои деньги. Откуда об этом узнал Шитиков? Не знаю. А время идет да идет... Ольга организовала клуб цветоводов в библиотеке...

21.

Оказывается, писатель и драматург Владимир Дмитриевич Шитиков собирает какие-то народные рукописи, семейные воспоминания и рассказы, именно безвестные, непрофессиональные... Вот диво, берет только копии. Право на собственность остается у автора.

– Для чего?..

– Как слова.

– Как это понимать? Как продажу... или...

– Понимайте – как факт, – отвечает. А то ввернет со сладким лицом, намекая на что-то умное, ученое: – Словечки-то надо вернуть – вот я зачем покупаю! Ведь нашими словами, может, и еще кто-то через нас разговаривает...

Шитиков заметно постарел в последние годы. Стал точно меньше, ходит неуклюже, а в разговорах, волнуясь, пришептывает. Во рту у него, что ли, пересыхает? Странно одетый, одно к другому не личит: в коричневом пиджаке и зеленых, обвисших на коленях брюках – появился ко мне он в пункт проката все с той же деликатной просьбой – продать ему мои записки. И совсем не потому, что в них есть воспоминания о Колыме. Я сначала затревожился, не провокатор ли он? Тогда о Колыме публикации у нас были еще под запретом.

– Колыма? – будто недоуменно уставился на меня он. – Нет, меня больше интересует Ольга К.<sup>9</sup> Горелов – это ты, Дмитрий Грязнов. А кто такая Ольга К.? – вдруг сюсюкнул по-детски, сложив губы в куриную гузку, писатель. П о д ъ е л д ы к н у л – меня задело. Хочет, чтобы я про свою жену разоткровенничался... бурый пиджак...

– Вы, писатель, и про такое спрашиваете? – не нашелся ни на что большее я... И осекся: – Пойдите, пойдите, – спохватился, – а откуда вы про Ольгу К. знаете?

– Как откуда, дорогой мой друг? – с укоризной вздохнул он.

Оглядел электросамовары на полке, размножившие в своих боках его расплывшийся лик, и, вынув из портфеля, положил мне на

<sup>9</sup> Кроме свидетельства самого Горелова ничего нового, биографического об Ольге К. не обнаружено. Эта записка ее сохранилась. Есть и несколько писем Горелова к этой женщине. На рукописи местами также встречаются непонятные пометы, сделанные, похоже, женской рукой.

стол картонную папку. В ней уже знакомая акварель «Встреча в Сибири». А потом я... испугался. Значит, он действительно из КГБ? Передо мной лежала, напечатанная через копирку, копия моих «Записок Горелова», и – грубый рисунок, почти карикатура. Комли свечей с замурованными образами, вверху – костер из изрубленной радуги. Две темные фигуры на пятачке света. Спиной к нам – это я, другой – самозванец... Похож на Шитикова. Растерявшись, я не спросил, откуда этот рисунок. Подумал, что Кашина.

Уловив мое смятение, с готовной улыбкой подался Шитиков ко мне со стула. Что еще сейчас ляпнет?

– Ты не свое про меня думаешь, Дмитрий. Вчера, как только я получил эти записки, я сразу же прочитал их. Ольга К., как вылитая... Вот и гонорарчик сразу же... А рисунок я тебе так подарю...

Неужели это сделала жена? Мы с ней уже обсуждали заманчивое предложение собирателя рукописей из родников народных. Но жена тревожилась больше меня, считая Шитикова стукачом. Не зря же, мол, он и за границей столько раз бывал. Туда выпускают только своих, проверенных... Ему хозяева дома сказали, что приходила женщина, похоже дачница, такая культурная, и попросила передать эту папку писателю Шитикову.

– Я не успел ей деньги отдать... Прилег отдохнуть, да и вздремнул, – осклабился он. – Сон приснился неприятный. Не зря говорят: не надо спать на закате солнца... Стрижи в этот час мечутся над обрывом, кричат пронзительно. Да и ночью, после ваших записок – опять... А про Колыму лучше вообще никому не говорите, – посоветовал твердо он. – Кроме меня. У меня же дело – молчок. Со мной вместе умрет. Я это для себя собираю...

Поглаживая виски перед никелем самоваров, заправил механическим жестом россыпь серых волос за уши и принялся расхваливать, как он читал ночью мои записки. Долго не мог уснуть. Как снилась странная дама в черной шляпке. Только лицо у нее было закрыто... Холод охватил душу – застыл в ней притворным светом...

«Так, может, ему и про эту дачницу, якобы принесшую записки, все пригрезилось?» – мелькнула у меня темная мысль – как стриж, низко над землей, на фоне тяжелого для сна заката. Но я тотчас же отверг ее – нелепую, как рожу самоварного отражения.

Говоря, он с любопытством поглядывал на меня, явно заманивал, отуманивал... Как испытку делал. Сначала я, с распаху – поверил. А потом, сторожась какой-то ловушки, понял – врет. А зачем? Столько накрутил всего! Нет, наверно, он все-таки стукач. Умеет угадывать мысли. Уловил и мою тревогу. Заволновался, запришептывал. Я помалкивал-помалкивал, да начал поддакивать, подкивывать, прикидываться дурачком... Чуткий, черт. Когда сделка была закончена, еще раз обнадежил:

– А про Колыму больше – ни-ни, никому...

Значит, он приобрел эту папку у Кашина? – волновался я, идучи домой. А ведь я даже не посмотрел – что там? Копии моих писем или сам Кашин собрался, записал что-то? – Ведь мы с Кашиным как-то разговаривали с Шитиковым, хлопотали за поэта Ивнякова... Да, зацепил черт художника... Или Шитиков все это подстроил. Сочинил? Они мастера на это...

Когда я подошел к дому, мать с маленькой Анастасией в огороде рассуждали про коричневую лягушку, шлепавшую по только что политой грядке. Жена варила на газовой плите варенье из черной смородины. Я вслушивался, как с говором, с остановками на ступенях взобрались в лестницу бабушка с внучкой, мы поужинали, зажгли свет. За марлевой рамой кухонного окна, в облегшей тишине, по-вечернему печально и одиноко свиристели кузнечики. Звенящая бездна вечера емко вкрадывалась под сердце, томила беспричинно, и я рассказал Ольге всё. Показал рисунок. Была и подпись под ним: «Я: – Ты хочешь поставить трагедию? Он: – А как твое имя?»

– Я тебе говорила: не пиши, а если написал, так не продавай! – сказала Ольга.

– Так они же у меня остались!

– Все, даже не записанное, с нами остается...

– Может, все-таки, Ольга, это ты, а? Дочку учить – нужны деньги...

Ольга изумилась. Никуда она на закате вчера не ходила. И наша папка на месте, в шкафу. Подумала, что – шучу.

– А про Ольгу К., – усмехнулась она, – сказал бы ему, что это я выведена.

– Я так и хотел, но...

– А к Шитикову, – не дав договорить, выделила она голосом – приходила наша *Зинеида*...

Мне ничего не оставалось, как подыграв ей, горестно согласиться:

– *Да, то была она...* – Я так и объясню Шитикову...

Ольга убедила меня вернуть ему деньги, но когда я на другой день вечером зашел в дом на волжском бульваре, Шитиков уже уехал.

Конечно, он делает эти словесные закупки для переработки, успокаивал я себя. Потом забеспокоился... Как-то все-таки не по себе. А вдруг все-таки отнесет в КГБ? Но напрасно тревожился. Недалеко уже было то время, когда в «Литературной России» появился некролог: Шитиков внезапно скончался. А тут и про Колыму стали у нас печатать.

Я вспоминал скучные, нарочито написанные его повести: «Жуешь-жуешь, как портянку, фразу и – никак не прожухешь!» – сравнивал Кашинин. Может, и я бы смог стать таким сочинителем поддельным. Но меня спасла от этого вида духовной смерти Ольга. Хорошо, что дело не пошло дальше нашего мирочувствия. Как мы смеялись, когда я ей выдал строки Семена Боброва в березовой аллее!.. Тогда и совершился во мне переворот. И Ольга не зря говорила: не пиши! Я бы даже до уровня Бесталанного Ворбаба не дотянул. Да и уехали мы из губернского города не случайно. Не случайно я и устроился в пункт проката. Вместо мыслей напрокат книжных, плоских – выдаю самовары, резиновые лодки, велосипеды и другие нужные вещи. Ольга спасла меня от постановки трагедии по сомнительному рецепту. Она все меньше говорит о книжной мудрости, темной англо-немецкой философии, которая уже не первый век на деле оборачивается шарлатанством. Сновидцы!.. Пусть же Шитиков возьмет свое шитиковское... Не жалею, что я ему продал свои записки. Люди, замурованные в потухшие свечи – мертвые, как в мавзолее. Самозванец – один из дьяволов ада в противовес Христову Воскресению. Чтобы было не царство Христово на земле, а царство адово с вечно живыми покойниками. Бытие их болезнь. Вот его трагедия. Тут мне припомнилась моя мысленная игра: Ольга – не Ольга! Женщина – не женщина... Кто же она... эти волосы... глаза... Мы тогда, в серый сырой день говорили про черную богородицу. А если Шитиков мои слова купил... для чего? Может, даст об-

раз каким-то своим исчадиям... У них нет слов, нет имен. Может, какой-нибудь черной богородице... На миг я оторопел, почувствовав себя замурованным в сияющее вещество, в воск волнистого тумана сероватых отражений... Сам ты – сновидец несчастный!..... Чем ты всю жизнь прозанимался?

22.

Прошло еще десять лет, и двадцать. За это время Ивняков развелся с женой, уехал в Карелию к сестре и там умер от туберкулеза. А недавно я узнал, что умер Кашинин, от инфаркта. Сначала он на Дону расписывал храм. С Дону укатил в Калининград, где открыл часовую мастерскую, но прогорел. Помытарился по разным шабашкам, приступ с ним случился прямо за работой: пошел в кладовку за краской и упал. Все изменилось и в нашей жизни. Пункт проката мой давно закрыт. Мы с Ольгой переменили места работы. Мать моя умерла. Старый дом мы продали и переехали в типовую квартиру, в пятиэтажку. Ольга затеяла огород, заставила меня заказать для него железный забор в Угличе. Книги стали не нужны. Сначала в библиотеке убрали с полок, изъяли красные и черные тома Маркса-Энгельса и Ленина, какие возил с собой еще Бумажников. Потом советскую беллетристику. В коридоре выставили стол, куда выкладывают ненужные издания классиков и всякой литературы для бесплатной раздачи. Жители сносят ее сюда, освобождаются от томиков, когда-то купленных по блату, из-под прилавка. Полки заполняют новой, рыночной макулатурой. В столичных образцах ее знакомо пробивается слог райкомовского постановления: «Город состоял из домов, отстоявших друг от друга» и т. д. Старинные издания, наследие вольнодумца, увезли в областной музей. Оставили для антуража один том «Ста русских литераторов» Смирдина. Да случайно обнаружили «Творения велемудрого Платона, часть первая, предложенная с греческого языка на российский священником Иоанном Сидоровским и коллежским регистратором Матфием Пахомовым, находящимся при обществе благородных девиц в Санктпетербурге при Императорской Академии Наук, 1780 года». Том красивый, в красноватой коже, похож на Библию, поэтому думали мы, что его украли посетители в конце девяностых. Перевод неуклюжий, велеречивый. Я читаю

Ольге вслух и смеюсь... И задумываюсь. До Платона ли было в рациональном восемнадцатом веке перед французской революцией? По странице шероховатой ползет мошка, остановилась на строчках о любви... Я долго смотрел на мгновенные узоры, выводимые мошкой по двухтысячной мысленной толще. Так и не страхнул...

День сумрачный, сырой, в ржавой листве тротуары, грифельная истлевет полоса леса за Волгой. Все точно застыло, солнца нет, но серость, глухота облачного дня вдруг отступили – откуда-то невидимо насачивается небесный свет. Или этот свет идет изнутри, от того серебристо-белого сияния, оставшегося от прошедшей жизни, или брезжит он из-за таинственной, близкой уже в будущем границы?..

Скучно, грустно, само имя, которое я ношу уже полвека, надоело, стало будто чужим. Вчера я забрел к родительским могилам на кладбище, оно оголилось осенью, стало похоже на свалку железных оград и приземистых памятников, и я все медлил выбраться из его лабиринта, удивляясь, сколько здесь моих ровесников...

Бог не забывал нашу семью, три брата старших у меня умерли – взял их к себе: двоих во младенчестве, последнего – отроком. И я был, наверно, под вопросом, поэтому всю жизнь томился по иному миру, загадывал: какой он, как там? Может, от того, что я здесь жил только наполовину, на полдуши, мне по сравнению с братьями и была дана такая жизнь долгая: уже шесть десятилетий. Но вот наступает и мой черед... Тело отделяется, болезнь счищает его с меня. Тот мир проступает из глубины моей рельефнее... Там, на его пороге, у самозванца, нет слов, нет имен... Может, скупка словесных грехов здесь – для него? Может, Ольга К. пришла оттуда, чтобы уравновесить коромысло моей жизни? И вывести на уровень моей души томившие меня образы иного мира... А нас, образы Христовы, провести через темное место, присоединить к лику прекрасных, вечных созданий?

Возьми себе эти записи Горелова, самозванец. Без меня тебе не поставить трагедию! – уговаривал ты мою душу. Оставь эту трагедию себе. Ты ее постановщик. Я отделяюсь от тебя, Горелов, сгорела, растопилась свеча с заключенным в ней твоим образом. Я остаюсь с Ольгой К., моей женой. Если говорить точнее, то Ольга К. и есть моя

душа. То есть никакой Ольги К. в появе и нет. И тут же, единовидно она – есть, есть, есть! Это от нее вместо оземленелой радуги – свет засиял в обезображенном храме. Самозванец исчез. Или самозванцем этим – был ты, Горелов? Никогда не называй себя чужой фамилией... Это только у заключенных на Колыме было по несколько фамилий... Тому уже фамилия не нужна. Его воры ночью портянкою задушили. А ты под его фамилией – пайку получаешь...

С такими привычными мыслями я засыпаю. А к утру мне снится сон, часто повторявшийся в разных вариантах последние полгода: опять погоня, взрывы в большом, ярком городе. Шумные, запруженные автомобилями улицы, толпы. Стены, узина, гам, решетки, никелированные поручни. И страх – людей отлавливают и посылают на расстрел. Я избежал проверки документов, но вот меня все же задержали на просторной, оглохшей от автомобилей улице. Из крытого брезентом фургона вылез человек – плотный, упитанный, с мордой председателя Петрокоммунны Зиновьева, в полосатой рубашке, и недобро кольнув нас гвоздиками глаз, отвернулся к дверям фургона, а гвоздики его – в нас остались. В нас – это во мне и в женщине с ребенком, мальчиком лет шести. «Неужели и ее на расстрел? Может меня с ней – отпустят?» – жду томительно я... А тот не смотрит, отвернувшись, точно подсказывает, что мы можем убежать... Или испытывает: ну-ка, сумеете, или нет? Я дернул женщину за рукав: «Бежим!» Отошли тихо и скрылись. Я обрадовался, и вот пробираюсь домой... Город расплывается – или это я так ослеп, что стены зданий, улицы – все сливается в непрозрачную массу. Вечереет. Я уже в поле, за городом, у дороги к дому. Дождик, слезятся огоньки окон между лохмотьев сырой темноты.. Я пробираюсь по обочине до тех пор, пока не просыпаюсь от страха... Я там что-то самое главное спрашивал у той женщины с ребенком... И она ответила. Что? Не могу вспомнить. Забыл. Потерял на обочине ночной дороги. И думаю, что и пятьсот, и тысячу лет назад – люди замечали, как меняется жизнь, как плотнее она ступает по антихристову пути, и так же мучились ее звериной яркостью и неумолимостью, и старались загородиться всеобщей гармонией лжи, и эта кажущаяся растянутасть во времени лишь подтверждает, что зверь рядом, близь града сего...

Утро опять нерадостное, застылые нависи облаков... Я один в квартире, жена встала рано и уехала по делам. Дочка давно живет с мужем в областном городе, преподает языкознание в пединституте. Мысли привычные, однообразные, не то сон наяву, не то размышления во сне. Может, я так и не проснулся?.. Или это плутают наши души уже там, где коллежский регистратор Матфий Пахомов, и дама в клоке особенного, знакомого цвета, и председатель Петрокоммунны Зиновьев... Мы лежим, два серых черепа, в заросших, затерявшихся могилах на окраине старого кладбища. И крадется тихо через дорогу низкий, странный закат... Проходят века. Здесь город был – теперь снежное поле вместо него, ни колоколен ни гробниц. Таинственный нездешний свет уже сквозит из-за завесы времени. Да и мы сами видны только своим мертвым сердцам, да ангелам с облачных башен...

В этой стороне, поблизости от железной дороги деревни еще не вымерли, заселены приезжими горожанами, дачниками. Газокомпрессорная станция цветным, железным пауком раскинулась, врезавшись в сосновый лес. Сюда из города на работу уже десять лет меня привозит длинный, аккуратный автобус. И, когда я присаживаюсь на мягкое сиденье, странное чувство появляется, что автобус оживает на эти пятнадцать минут пути, а душа замирает, сливаясь с синтетикой, эмалью и никелем автобусной требухи: и видит душа глазами автобуса, и смотрит; поэтому так отчужденно мелькает скучная придорожная канава, и грустно, неодобрительно покосившиеся, точно сжавшиеся, темные сосны с голыми березами. За проходной по бетонным стенам – новые крикливые плакаты: «В шортах и майках вход на территорию запрещен»... «Какие теперь шорты, – вяло, бессмысленно думаю я, – ведь уже давно осень, скоро зима».

23.

И снова мне стал сниться умерший Кашинин... Вот он пригласил меня в гости на какое-то пирование. Как я в его деревню приехал – не помню. Октябрьский, темный свет дождливого, серого дня. Весь мир, как отражение на потемневшей осенней воде. И в избе тени в темный свет сливаются, стены, обстановка просторной горницы тают в тенях, но облики людей – четкие. Кашинин молодой,

в новом сером костюме. И гости молодые, тоже в новых одинаковых костюмах. (Или это все покойники?) Лица чистые, ровные, без мимики и речей, застылые в одной, общей мине, как обычно бывает на торжестве. Только жена его, Нина, странно выделяется. Она постарела, одета как-то нелепо. Длинный стол накрыт. Все стоят почти вплотную к нему... Не разговаривают, не садятся. Все чего-то ждут. Я хотел заговорить с Кашининым, но не удалось. Только с Ниной поговорили немного, показала, где мне укладываться на ночь...

Я снял брюки и рубашку, лег. Да в темноте чужой комнатухи стало так тоскливо, что решил ехать домой. Долго искал свою одежду. И вот вижу – лежат мои новые, коричневые брюки и – то появляются, то исчезают – их никак не схватить. Хотел от досады в одних трусах и майке уйти, несмотря на длинную дорогу, холод и грязь. Наконец, брюки нашлись в кухне. В спальне, мимоходом вижу, Нина – в одном белье: с большим треугольным – она стоит боком ко мне – задом. Вдоль деревни асфальтовая дорога. На остановке жду автобуса – у железной крашеной клетухи... И погода темная, тусклая, не зима, не осень... Мелкий дождик – паморка...

Почему теперь мои сны застилают сумрак, мгла? Будто я сквозь изредившееся тело на свет – гляжу. А ведь и все молодые гости во сне – были на одно лицо, как у моего друга Кашинина. Это все он один и есть, это – его отстойки, его частичная вечность. Зачем вечности и говорить... Один язык молчания во всех. И женщина одна у вечности – жена...

Это молчание там, во сне, вошло в меня... будто я побывал на дне реки и наполнился им, как водою. И с ним проснулся. И оно через образовавшуюся брешь – лилось и лилось несколько дней в явь, смешиваясь с воспоминаниями, уплотняя их своим смыслом, вваивая их в обыденность...

Вот, будто третьего дня это было, бегу я, полы пальто бьют по ногам, портфель раскачивается в руке... Как солнечный зайчик скользнула по сердцу короткая радость ожидания у обитой новым, мерцающим приветливо дерматином двери. Скорей нажимаю на кнопку – чу, звонок, тоже радостный, мальчишеский, там, за дверью, знакомо отзывается мне. Кашинин домашний – в майке, трикотажных штанах, вбирая меня черными, радостными глазами – встречает,

воскликает, волосы у него на лбу над бледным лицом – всклокочены коком. Я что-то торопливо пересказываю ему из дореволюционных журналов, из музейной обыденности...

Курить мы выходили на лоджию. С седьмого этажа была видна окраина города и за рощей, на холме мглисто белевшая церквушка в Лучинском. (Теперь над ней блестит золоченый крест, там снова служат Богу). Я раз пешком сходил к ней, и вблизи она превратилась в кирпичный остов, покрытый, как сарай, шифером, роща оказалась остатками липовой аллеи. Ушедшие в землю железные кресты кладбища, развороченный склеп царского генерала и его молодой жены, а на отшибе музей – бывшая усадьба губернатора, где я познакомился с Ольгой. Стояла ясная сентябрьская погода, скользили автомобили туда по московской дороге: призрачным потоком затериваясь в наших мыслях; а наши мысли и образы, будто обволакивая все вокруг дымкой, мглецей предосенней, казались миром настоящим. А ведь это мы были затеряны в сияющем веществе земного мира, в его потоках со своими невнятными словами и мечтами, но только еще не знали...

А то пересказывал мне Кашинин «Август 14» Солженицына: что он сильно чувствует мистическое – и я представлял солженицынский слог, как витраж, сквозь который наполнялась душа зеленым свечением... Нездешним, таинственным. Последняя ночь Самсонова в лесу. Молитва на звездочку... Когда я сам прочитал «Август», то у меня вызвалось совсем другое – впечатление солнечной ясности. Вахлаки! – закричал Воротынцев, шая силой легких. Подымались и три раза шли на огонь с беззвучными штыками. Я понял, что с пересказа Кашинина я стущал в душе что-то свое, ночное. Не тогда ли самозванец подслушал? Своей зеленой фамилией то ли передразнивал, то ли подлаживался к моему душевному смотрению?

– А ведь эта фамилия действительно зеленая, – удивился Кашинин, когда я назвал ему ее...

Я со второй половины своей жизни стал задумываться и укорять себя, что затонул сам в себе, в своем самосозерцании. Во внешнем проявился мало. Так думал я. Верно ли? Что ничего из меня не вышло? Но в темноте внутренних вод, в придонности души, вроде, проступает основание какого-то нового мира. Еще неясно. Надо на-

прячься и вынырнуть по другую сторону этого мысленного моря, и там откроется берег иной жизни...

– Ах, ты сам – как дорогая книга! Ты умрешь, а я издам «мирочувствие»! – однажды, приветствуя меня, когда я с ходу рассказал ему что-то интересное, воскликнул он. Так, что Нина его тут же одернула: «Ты что, разве можно такое говорить?»

Я пережил Кашинина. И он теперь вспоминается мне, как дорогая книга. Невидимая – Божья. Что чувствуют слова таких книг, когда небесный скорописец починает читать их? Когда его глазами мы узнаём освобожденные из сияющего вещества образы жизни, которую каждый когда-то считал только за свою?

1981-2012

Ярославль – Мышкин

## Содержание

### **Дева-Книга, лирический роман**

Глава I .....	3
Глава II .....	20
Глава III .....	46
Глава IV .....	65

<b>Из записок Горелова, повесть .....</b>	<b>83</b>
---	-----------

## ОБ АВТОРЕ

Смирнов Николай Васильевич родился в 1950 году в деревне Коровино Мышкинского района Ярославской области. В 1975 закончил Литературный институт имени Горького. Член Союза российских писателей с 1993 года. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Волга», в альманахе «Поэзия», в газете «Труд», антологии «Форма огня». В разное время в области вышли четыре его стихотворных сборника. А в 2011 году книга «Повести и рассказы», получившая положительные отклики в прессе. Проза его печаталась в региональном журнале «Русский путь на рубеже веков», в антологии «Лед и пламень», вышедшей в Москве. Лауреат областной премии имени Трефолева и премии имени Лескова провинциальной литературной газеты «Очарованный странник».

Автор с молодости работает над эпическим произведением, из которого опубликованы пока лишь отдельные части. В эту книгу вошли два таких фрагмента, имеющие и самостоятельный смысл: мемуарный, «Из записок Горелова», и лирический роман «Дева-Книга». Стихи из него печатались в «Очарованном страннике», сборнике «Ярославская лира», в «Ярославских епархиальных ведомостях» и других местных изданиях.

Николай Смирнов почти два последних десятилетия проработал собкором в областной газете «Золотое кольцо». Живет в городе Мышкине.



**Смирнов Николай Васильевич**

## **Дева-Книга**

Лирический роман  
С приложением баллады о самозванце-постановщике  
и поминовением по убитому поэту

Книга выпускается  
в авторской редакции

Дизайн и верстка  
Михаил Китайнер

Корректор  
Анастасия Смирнова

Подписано в печать 15.02.13.  
Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Печать офсетная. Бумага офсетная.  
Гарнитура GaramondNarrowC.  
Усл.п.л. 9,3. Уч.-изд. л. 7,8.  
Тираж 150 экз. Заказ 07-13.

Издательско-полиграфический комплекс «Индиго»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97  
Отпечатано на собственном полиграфическом оборудовании